

20

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Родина КУБАНЬ

3

2002



В НОМЕРЕ:

Общественный совет: В. П. Бардадым, И. Ф. Варавва, В. Н. Ганичев, В. П. Громов, И.А. Даньков, Н. Г. Денисов, В. Г. Захарченко, Ю. П. Кузнецов, И. Ш. Машбаш, Г. П. Немченко, В. И. Оноприев, П. Е. Придиус, В.Н. Ратушняк, А. Д. Рудич, В. Н. Салошенко, М. И. Ткаченко, В. И. Шкуро.
Главный редактор В. И. Лихоносов
Редакционная коллегия: П. С. Макаренко (заместитель главного редактора) А. Г. Федорченко (отдел прозы и поэзии) В.Г. Левченко, О.Г. Панаэтов, Л.М. Пасенюк, В. П. Попов В.К. Чумаченко.
Заведующая редакцией А. В. Орленко (Лихоносова)
Компьютерная верстка и набор В.В. Старостин Л.А. Масалова
Художник П.М. Шур
Адрес редакции: 350681, г. Краснодар, ул. Калинина, 339. Телефон: 59-31-71
Рукописи не рецензируются и почтой не возвращаются.

Подвижники благочестия

Дмитрий Букин

Жертва

2

Народный архив

Петр Макаренко

Смерть зовется 33-й год

14

П.Г.Чернопицкий

Голод 1932-1933г. на Кубани

26

И.И.Алексеев

Наказание голодом

33

А.П.Турукало

Записки «кулака»

37

Дневники Ивана Лазаревича

Полежаева

51

Василь Барка

Кубанский холокост

62

Жатва 33-го

Петро Воляняк

69

Кубань —

земля казачья...

76

Иван Варрава

Стихи

95

Иван Даньков

Стихи

96

Татьяна Самусь

Голод 1933 года

97

Воспоминания

Сергея Васильевича

Никифорова

98

Воспоминания

М.Е. Переверзевой

102

Александр Федорченко

Отболевшее

103

М. Г. Трепачко

История семьи казаков

106

Трагедия

станции Полтавской

108

Нет прощения!

123

Я это помню...

131

Уроки чтения

Евгений Иванов

Выжить во что бы

то ни стало

140

ЖЕРТВА

Армавирская тюрьма — одиночная камера, на исходе декабрь. Ожидание исполнения приговора, вынесенного «тройкой» УНКВД по городу Армавиру 27 ноября 1937 года. Решение «тройки» — расстрел — обжалованию не подлежит. Это приговор моему дедушке, Георгию Ивановичу Букину.

Дед-священник статен, красив, умен, ростом под два метра. На нем ряса, с которой он неразлучен, густая шевелюра уже вся побелела, усы и борода с густой проседью.

На высоте два с половиной метра от пола им выцарапано послание жене, детям и нам, внукам, недавно появившимся на свет, — письма писать строжайше запрещено, свиданий с близкими не давали с первых дней ареста, а близкие близко в буквальном смысле слова — в сорока километрах от тюрьмы в Бесскорбной его жена и младшая дочь Юлия, в сорока пяти — в станице Григориполисской его родня. Взрослые дети после первого ареста в 1930 году разлетелись кто куда, старшая Антонина и средняя Валентина в Москве, а Володя и Константин на Дальнем Востоке, один служит в авиации, второй строит Артемовскую ГРЭС, они уже на себе испытали гнет системы, поражение в правах, невозможность учиться в высших учебных заведениях, узнали тяжелую участь детей врага народа...

Дед родился в 1885 году, 4 апреля, в станице Григориполисской, в столетнюю годовщину со дня основания станицы...

Прадед Иван Иванович был очень набожным человеком, вера в Бога в нем была необычайно крепка, и детей воспитывал он на почитании Бога. Садясь за стол обедать, он призывал Господа Бога отведать трапезу вместе с ним, возносил ему молитвы и хвалу за каждый прожитый день.



Под влиянием отца и маленький Георгий становится все более набожным и мечтает служить Ему.

Наши прадеды жили в ладу с природой. Хутор утопал в садах. Жили в достатке, излишки пшеницы продавали, тем и кормились, прирастая богатством. Двор был полон живности и скота...

Дети учились в Григориполисской местной церковно-приходской школе — кто в одноклассной, а Георгий закончил двухклассную.

Детство — прекрасная пора. Тем более,

когда рядом и бабушка, большая любительница сказок, которые не прочтешь в книжках. Она могла рассказывать их часами, а маленький Георгий с увлечением слушал. Еще большее впечатление оставляли поездки в ночное с лошадьми. Над головой огромное звездное небо, а лежа у костра можно было долгие часы смотреть на звезды, ловя ухом похрапывание коней, слушать легенды о черкесах и ногайцах, — все это было рядом, только протяни руку. Страшновато слушать рассказы бывалого казака, пересиливая детскую боязнь, хотелось узнать, что там за краем звездного неба, кто там зажигает далекие звезды, ведь кому-то это надо. Поездки в ночное — это на всю жизнь, и навсегда запомнятся и свет, и тепло костра.

Умели в семье прадеда Ивана играть на музыкальных инструментах — был собственный оркестр струнных инструментов. Дед Георгий пошел дальше всех — ему полюбилась скрипка, впервые увидев ее у цыгана, он попросил отца купить ему этот необычный для станицы инструмент. И тот в ближайшую поездку в Ставрополь купил ее и торжественно вручил сыну.

Миновали детские ребяческие игры без забот и оглядки на время. Вот настала и школьная пора.

Станичники понимали, что необходимо учить своих детей грамоте и растить будущих учителей, врачей, агрономов и прочих грамотеев, без которых жизнь в станице немыслима. Поэтому школа выпускала хорошо образованных воспитанников — уже само перечисление предметов, таких как латынь, логика, риторика, богословие и многие другие, говорит о культурном уровне выпускников. Георгий учился легко и свободно, без напряжения переходя из класса в класс, и окончил школу с золотой медалью, чем доставил деду Ивану большую гордость и радость.

Пришло время выбора дальнейшего

пути. Молодой Георгий твердо определил свою судьбу — духовная семинария. Ближайшая семинария находилась в Тифлисе, да и весь регион тяготел к этому культурному центру.

Подано прошение о зачислении в семинарию на учительский факультет. Его отличный аттестат даст ему зеленую улицу, и он зачисляется на первый курс без экзаменов, но родители должны вносить годовую плату за обучение. Бесплатно учатся только дети бедняков.

Предстояла долгая разлука с домом, родителями, братьями, сестрой и относительно дальняя дорога до Тифлиса.

Прошел год учебы в семинарии. После шумного и разноязычного Тифлиса абсолютно тихая и спокойная Теберда могла свести с ума, спасали часы, проведенные в школе с учениками, да горы, которые полюбились Георгию так же, как и родные степи. Особенно любил он Клухорский перевал, откуда открывался вид на величественные горы Кавказа, на Домбайскую долину и далекое Сухумское побережье, что скрывалось за цепью гор и дымкой горных далей.

Для размышлений много времени, и сами горы располагали к этому.

Что же произошло в Тифлисе, почему разогнали семинарию и ее студентов, часть которых без суда сослали на Урал, часть отправили по домам, а часть ребят разъехалась кто куда.

Волна стачек и выступлений коснулась и семинарии, да и порядки, существующие в ней, требовали не разгона студентов, а кардинального изменения, вплоть до полной смены руководства и преподавательского состава. Когда студенты заволновались из-за поборов, недоедания и всяческих притеснений, руководство, не долго думая, вызвало конный отряд казаков, которые избивали семинаристов, хватали правых и виноватых, нещадно стегая и тех и других, а

администрация семинарии просто-напросто спряталась и издали наблюдала события, а события оказались и впрямь революционными. К семинаристам присоединился рабочий люд, и вместе дали отпор казакам, те схватились за оружие, загремели выстрелы, пролилась кровь... Некие революционные силы, сделав свое дело, ушли вновь в подполье, а молодые остались в одиночестве.

Санкции не заставили себя ждать: напуганный ректор просто-напросто прикрыл семинарию, и всех — правых и неправых — отправили на бессрочные каникулы... Друзья посоветовали на время уехать подальше от больших городов, переждать.

Георгий так и сделал. По совету опытных людей уехал учительствовать в одноклассную церковно-приходскую школу в Карачаево-Черкесию, в далекую по тем временам Теберду.

Дети полюбили своего учителя и часто были ему проводниками по незнакомым местам. Он облазил все армянские церкви XI- XV веков, которые были в Нижней Теберде и ниже по долине.

Однажды ему попала замечка о том, что Темрюкская церковная учительская школа производит набор студентов на первый и второй курсы. Он, не раздумывая, посылает прошение, и его зачисляют на второй курс. Занятия начинались в сентябре, к этому времени необходимо было прибыть на учебу.

Темрюк станет на целых два года его домом.

О прилежании студента хорошо отзывались все преподаватели, по всем предметам Георгий имел отличные оценки, а преподавали такие предметы: Закон Божий, церковную историю, всеобщую и русскую, дидактику и, главное, основы педагогики, церковное пение с обучением регентству и музыке, церковно-славянский язык, русский язык, словесность и историю литературы, географию России и всеобщую географию, математику-арифметику, основы геометрии

и землемерия, сведения о природе ее силах и явлениях, черчение и рисование, гигиену. С разрешения Святого Синода введено обучение иконописи, сельскому хозяйству. На втором-третьем курсах преподавали в двух классовых церковно-приходских школах студенты города.

Отличные оценки позволяют Георгию после сдачи зачетов и экзаменов поехать к отцу на хутор помочь по хозяйству, хотя и без него работников там хватает: его братья Иван, Яков, сестра Александра — хорошие дети и добрые помощники отцу. Хозяйство крепнет год от года. Стоит благодатная пора. Урожаи обещают быть хорошими, и Георгий старается вовсю, вот, наконец, и урожай собран, можно прощаться и вновь в училище — предстоит учеба на последнем курсе. С гостинцами Георгий возвращается в Темрюк, радость встречи с сокурсниками и преподавателями, словно с близкими людьми, вдохновляет. Впереди заключительный этап учебы. Все дается ему легко. Феноменальная память позволяет Георгию выучивать наизусть многое из Евангелия, а также из любимых произведений Пушкина, Лермонтова и других поэтов. О его успехах говорят оценки матрикул — так тогда называли зачетку, а творческие сочинения, образцы черчения и рисования карт, живописи свидетельствуют о незаурядном уме и таланте будущего учителя.

Приближалось время окончания учебы. Георгий имел право выбора школы, он выбирает далекую, станицу Исправную, ибо там живет его невеста Евдокия Нефедьева.

После окончания учительской школы новоиспеченный педагог приехал к родителям на хутор Букин, расположенный в 15 верстах от ст. Григориопольской. Радости родителей не было конца. Сын — учитель, но родители хотят большего, особенно отец, он желал бы видеть сына священником, посвятившим себя служению Богу.

Хутор Букин, расположенный у подножья кургана, был очень уютный, здесь жили землепашцы, все трудились от зари до зари и были счастливы трудом и урожаями, которые посылал им Бог. Старшие сыновья, Иван и Яков, женились, но жили рядом с домом отца, младшая сестра Александра была на выданье.

Семья была работающая, но в минуту отдыха, расположившись в поле или на улице хутора, пели старинные русские или казачьи песни. Георгий дирижировал, а вечерами играл на скрипке, которую ему подарили в учительской школе...

Время отпуска заканчивалось, и пора было ехать к месту назначения, в станицу Исправную, к дорогой его сердцу Евдокии.

Романтической любви наконец-то было суждено завершиться бракосочетанием. Георгий просит у родителей Евдокии, Петра Ивановича и Анны Алексеевны, руки их дочери. Согласие, к радости молодых, получено, намечается день свадьбы. Надо оповестить многочисленную родню со своей стороны и со стороны невесты, множество друзей о дне свадьбы. Октябрь 1907 года.

Договорились, что свадьбу начнут играть в Берестовке, в хуторе неподалеку от Исправной, затем переезжают на хутор Букин, под Григориополисскую, и там знакомятся со всей родней с Букинской стороны. На том и порешили.

Венчание состоялось в местной церкви станицы Исправной.

Семьи россиян тех лет были многодетными и шумными, радостно принимали в свое лоно каждого новорожденного. Уже через год в семье молодого учителя появился первенец Тося-Антонина, ей были несказанно рады, надо заметить, что Евдокия была мастерицей на все руки, к рождению первенца все было готово.

Как-то осенним вечером, просматривая газету «Церковные ведомости», Георгий Иванович обнаружил объявление, которое

гласило: «Московские пастырские курсы. Принимаются учителя церковных школ, а также диаконы и псаломщики, имеющие звание учителя одноклассной школы.

Георгий подготовил все документы и отправил их в Москву на имя Протоиерея И. Восторгова, руководителя курсов. Ответ пришел к весне 1910 года, где уведомлялось, что Георгий Иванович принят соискателем на курсы, которые начнутся в октябре сего года.

Учеба Георгия Ивановича на Пастырских курсах была успешной, рядом с ним в общежитии, а вернее, в комнате студенческого общежития была Евдокия с дочерью Тосей и сыном, который родился уже в Москве, но это только вдохновляло будущего священника.

Итогом обучения Георгия Ивановича была отличная аттестация и золотая медаль, а также именной подарок — скрипка...

В Москве молодому священнику было предложено остаться в Богоявленском соборе, но о. Георгий отклонил это предложение. Его мечта — самостоятельная деятельность в далеком сибирском селе, и он непоколебим, еще раз, в 1933 году, будет аналогичное предложение, но там уже совершенно другое... и он вновь откажется, но уже по иным соображениям. У него был выбор, и он выбрал то, к чему стремился, ему могли дать больше, но он остался верен своему выбору и прошел этот путь до конца.

Наконец, город Омск. Омская Епархия. Встреча с Преосвященным Владимиром. Молодой священник получает назначение в самое дальнее село Дмитриевское — Дмитриевской волости Кокчетавского уезда. Ему не терпится скорее прибыть на место, да и весна торопит, надо до распутицы быть в Кокчетаве. Поэтому беглое знакомство с Омском и поспешный отъезд. Путешествие по Акмолинской губернии довольно утоми-

тельное занятие, тем более с маленькими детьми, но они, Тося и Володя, суровую проверку выдерживают с честью. Матушка Евдокия привычна к труду, и для нее подобное путешествие не в тягость, лишь бы дети были здоровы.

Молодой священник начал со знакомства с прихожанами, он обошел все дворы, познакомился с каждым и договорился об оказании посильной помощи Храму Божьему. Затем состоялась встреча и с церковным старостой Михальцовым, впоследствии они подружатся. Постепенно, видя постоянные усилия о. Георгия, народ стал помогать церкви. Сначала отремонтировали сам храм, а затем замахнулись и на устройство иконостаса, приобретение икон. Он объезжает в округе всех купцов и предпринимателей и договаривается о привлечении материальных средств на благоустройство храма. Как он радовался первым приобретенным иконам и как благодарил купцов за оказанные услуги! Постепенно храм приобрел законченный вид, и о. Георгий договаривается с Омской епархией об его освящении. И вот с благословения Епископа Омского состоялось освящение храма Божьего.

Результатом было то, что и следовало ожидать от доброго пастыря. Народ изменился. Почтение и уважение к своему священнику были беспримерны. Добрый учитель и советник, он всегда был с народом. Храм стал наполняться молящимися, народ потянулся к вере.

Кончились благословенные денечки и годы, в стране после революционных бурь и установления советской власти началась гражданская война.

Гражданская война, которая бушевала в треугольнике Омск — Петропавловск — Акмолинск, нет-нет, да и затрагивала село Дмитриевское, стоявшее вдалеке от больших трактов и событий. И в Дмитриевской волости красные сменяли белых и наоборот. Движение крупных воинских соедине-

ний проходило в стороне, но отдельные части наведывались в волостное село, и Дмитриевка поневоле втягивалась в круговорот гражданской междоусобицы.

Первыми были войска регулярных частей царской армии, прошедшие горнило германской войны, окопники, оставшиеся верными царю и отечеству. Эти вели себя достойно, как и подобает армии, достойно отступали, не причиняя населению лишних хлопот. Но их сменили анархисты и прочий сброд. В этих условиях проявились лучшие черты характера о. Георгия, к нему селяне частенько обращались за помощью и покровительством. Обладая даром дипломата, он достойно выходил из многих ситуаций. На чердаке дома был организован лазарет, в нем лечились как красные, так и белые офицеры. От детей это было трудно утаить, хотя им туда вход строго-настрого был заказан, да и они сами прекрасно понимали, чем чревато, если где-то сболтнуть лишнего...

Однажды весенним днем 1919 года в Дмитриевке появились сельчане, которые дезертировали из армии Колчака, не желая участвовать в братоубийственной войне. Они решили вернуться к мирному труду, тем более что подошла пора сеять. Бросив оружие, они пришли домой. Но, испытывая недостаток в войсках, адмирал Колчак издает приказ о возвращении беглецов и жестоком наказании тех, кто покинул ряды армии. Их отлавливали по станциям и селам. Всего их в Дмитриевке оказалось семь человек. И пришло время, когда специальный карательный отряд прибыл в Дмитриевку. Но беглецы спрятались по своим схоронам и не желали выходить. Тогда карательный отряд взял самых уважаемых граждан в заложники, но последние, пользуясь удобным случаем, улизнули от охраны. Командир карательного отряда приказал взять в заложники семнадцать человек и не выпускать

до тех пор, пока дезертиры не выйдут и не сдадутся...

И вот тут проявился дипломатический талант о. Георгия. Он несколько часов подряд беседует с командиром и под свое честное слово обещает, что через десять дней дезертиры придут в часть.

Как удалось уговорить капитана, остается тайной, но все заложники были отпущены по домам, тем, кто самовольно оставил службу, предстояло после посевной вернуться в свои части.

Наверное, первые годы после революции правительству не было дела до отдаленных сибирских станиц и сел. Занятое своими проблемами, оно не обращало внимания на глубинку, но этот период закончился, комиссары с уездного Кокчетавы стали навещать в церковь, присматриваться к церковному имуществу. В 1919 — 20 годах по центральной России прокатилась волна репрессий против священников, уже первые декреты соввласти гласили об изъятии имущества церкви на нужды советов. Так появилась комиссия, которая своими актами описала практически все церковное имущество, золотые и серебряные вещи, иконы, иконостас, книги и прочее. Хотя о. Георгий часть имущества и передал на хранение прихожанам, но то, что осталось, было переписано, и церковных служащих предупреждали об уголовной ответственности в случае пропажи. Попытки о. Георгия найти правду у соввласти не увенчались успехом. Но о. Георгий не смирился, в новых инстанциях он доказывает, что все имущество приобретено на средства церкви, народа.

Первые концентрационные лагеря появились за Уралом если не сразу с установлением соввласти, то через год. Возник Соль-Илецкий концлагерь, в котором канули в лету сотни тысяч невинных людей, в нем сгинул муж моей тетки Александры...

Волна репрессий докатилась и до села

Дмитриевка, все чаще стали появляться в церкви чекисты. Какие-то комиссии ЧК и прочие стали обхаживать дом о. Георгия, и, наконец, спустя некоторое время, ему выдали предписание о выселении из него. О. Георгий бросился к волостному начальству, но те лишь отворачивались и кивали на потолок, дескать, команда сверху.

Он едет временно в Кокчетав. Постоянное беспокойство за семью не дает нормально трудиться. Да и новое место особо не прельщает о. Георгия.

Письма с Кубани постоянно наводят его на мысль, что надо успеть, пока живы родители, побыть рядом с ними хотя бы несколько лет.

Вспоминает Константин Георгиевич: «При переезде на Кубань о. Георгий с мамой купили всей родне подарки и прочие гостинцы, кому серьги, кому сапоги и тому подобное. Мы добрались уже до Отрадо-Кубанки, это в 15 километрах от Григори-полисской, до родни рукой подать, но здесь у нас произошло чрезвычайное происшествие. Багаж у такой семьи был довольно приличный, да и мамино приданое, подарки с гостинцами — все было упаковано в корзины, чемоданы. Выгрузили вещи, дело к вечеру, надо устраиваться на ночлег. Станционный начальник посоветовал сдать все вещи в багажное отделение, оно, дескать, запирается на замок, а сами можете спать спокойно, располагаться в здании вокзала. Заночевали на вокзале, а наутро отец и станционный начальник пошли к кладовке и увидели, что замки сорваны, а все, что там было, украдено. Это был для мамы очень сильный удар... Отец сохранял спокойствие, сказал, что, мол, все вновь наживем. Бросились искать вокруг станции, а она от населенных пунктов расположена далеко, нашли несколько клубков шерсти, да пустые корзины, один человек это сделать не мог, работала хорошо организованная шайка...

Мы остались практически голыми — то, что было на нас, и все...

Убедившись, что найти больше ничего не удастся, отец уехал на другой берег — доставать подводу, чтобы перевезти нас в Григориопольскую.

Когда освободилось место священника в церкви Покрова, о. Георгий просит у церковного начальства перевода в этот храм.

Церковь стояла на самом видном и высоком месте, с ее колокольни открывалась панорама на реку Кубань, закубанские степи и дорогу на Армавир. Знали наши предки, как выбирать место для храмов Божьих.

Станица Григориопольская была набожной и сумела сохранить одну церковь из четырех существовавших. Другие были разрушены, и остались стены от Троицкой церкви, Никольскую приспособили под столовую, разрушили старообрядческую церковь.

Наверное, личное обаяние о. Георгия, его учительские таланты снискали любовь и уважение прихожан, а его проповеди и красивый голос были слышны даже за пределами храма, я уже не говорю о скрипке, которая умело использовалась о. Георгием во время спевков хора, а церковные хоры практически во всех церквях привлекали к себе прихожан. Двери храма и его дома всегда были открыты для всех без исключения.

10 сентября 1926 года армавирская газета «Трудовой путь» сообщает о приезде в Армавир народного комиссара образования, а в последующих номерах пишет о том, что в местном цирке состоялся диспут и выступление А. В. Луначарского.

Вспоминает сын о. Георгия Константин Георгиевич: «Мне тот приезд Луначарского запомнился на всю жизнь. От Григориопольской до Армавира более 30 километров мы прошли пешком, мы уже знали, что о. Георгий должен выступать на диспуте с Луначарским. Нам это было очень любопыт-



*Церковь Покрова Божьей Матери.
Станица Григориопольская*

но и интересно. Из еды у нас был только каравай хлеба и 11 копеек денег.

Лекция и диспут должны были состояться в цирке, мы пробрались туда и спрятались там, вначале была лекция на тему «Толстой и человечество», а далее началось самое интересное. На диспут «Есть ли Бог?» от Епархии назначили о. Георгия, и мы с братом Володей с затаенным дыханием слушали отца, как он умело отвечал на вопросы.

Окончилось все поздно вечером, и мы вновь ночевали в цирке, боясь показаться на глаза папе.

Дома нас встречал отец, и мы признались, что были в Армавире, хотя, когда уходили, маму предупредили. Ругать он нас не

стал. Этот диспут помнится мне до сих пор. Я и мальчишкой чувствовал правоту о. Георгия как священника, убежденность в истинности своего дела была неотъемлемой его чертой.

Однако последствия последнего выступления отца не заставили себя ждать. Отец вынужден был срочно уехать в Епархию, где пробыл некоторое время, а затем получил новое назначение, передал записку маме, что жив и здоров, поехал на новое место службы в станицу Львовскую и станицу Ильскую, куда он был назначен с повышением в должности...»

В 1927 году о. Георгий спешно покидает Григориополисскую и уезжает в Краснодарскую Епархию. Там решено направить его в станицу Львовскую Благочинным с подчинением ему церковей в станицах Ильская, Северская и Львовская. Благочиние временно расположилось в станице Львовской, чтобы не привлекать местные соввласти.

Станица Львовская привольно раскинулась в степном просторе, находилась в 13 верстах от тракта Краснодар — Новороссийск. Улицы станицы уходили в степные просторы Кубани. Храм был деревянный, пятиглавый, с высокой колокольней. Малиновый звон колоколов слышался за десятки верст, жители станицы были набожными, и число прихожан значительным.

«В 1930-м году, — вспоминает Константин Георгиевич, сын о. Георгия, — я приехал в отпуск с Донбасской шахты, где я в то время работал с братом Володи. Едва я зашел домой, как увидел плачущую маму и маленькую испуганную сестру Юлю, в доме царил хаос, я спросил маму, что случилось, она сказала, что ночью пришли, и был обыск, а отца арестовали и увезли.

Только я снял сапоги, как без стука вошли трое во главе с человеком с черной вклоченной бородой, и сам он был черен, а его сопровождавшие почтительно величали его

«мадьяром», через плечо висел маузер. Они вновь продолжили обыск. Мадьяр был за главного, он начал рыться в вещах, скрупулезно обшаривая все углы дома. Наконец, в углу ящика в комод он увидел медали папы, там были медаль за окончание Темрюкской учительской школы, медаль за окончание курсов в Москве и наградная медаль от Православного Синода. Мадьяр дал приказание сотруднику прочесть, что на них написано, и когда последний прочел, мадьяр начал кричать, мешая мадьярские и русские слова. В Северской, отец был осужден «тройкой» ОГПУ по статье 59 пункт 12 за мелкие экономические преступления.

В декабре 1933 года о. Георгия вызвали в лагерный барак, и сам лагерный начальник заставил его пересказать эпизод 15-летней давности о спасении красноармейцев от расстрела. Он добросовестно, ничего не утаивая, рассказал о том далеком дне, когда смог выручить 17 красноармейцев, сняв их с края могилы и о том мандате, который подписал ныне известный в государстве член правительства. Еще долго начальник расспрашивал, куда подевался тот мандат и где бы он мог храниться. О. Георгий сообщил, что часть бумаг была изъята при аресте Львовским ОГПУ. Тогда начальник лагеря коротко рассказал о. Георгию о том, что пришло помилование и досрочное освобождение из лагеря. Освобождение произошло в феврале 1933 года. В рясе, поношенной телогрейке и шапке-ушанке сел он в поезд, на Москву.

В Москве жили две дочери, Антонина и Валентина. У Антонины была небольшая двухкомнатная квартира. Она, увидев на пороге отца, перепугалась и от страха приотворила дверь, но через мгновение распахнула. Дело в том, что в один из осенних дней 1932 года ее отчислили из университета с III курса только за то, что она в анкетах скрыла свое социальное происхождение. Она писала, что отец — учитель.

Пробыв недолго в Москве, о. Георгий отправляется на Кубань, в Львовскую, где его ждут с нетерпением жена и дочь.

Станица Львовская была притихшей после серии арестов сельчан и какой-то затаившейся под весенним солнышком. Дома его не ждали, и его приход был словно подарок, — вдруг, так, без предупреждения и без письма. Начались долгие рассказы о жизни без о. Георгия, да Слава Богу, свет не без добрых людей, они выжили в условиях наступившего голодного времени.

Об этом времени мне в Григориопольской рассказывал один почтенного возраста житель станицы. Если сравнивать с украинским «голодомором», то Кубанский «саботаж» был не менее страшен. И когда первый президент Украины Леонид Кравчук тоскливо объяснял по телевизору, что, будучи в ЦК, не имел и понятия о голоде 1932 года, он бессовестно врал. Пойди, спроси в любом селе на Украине и в любой станице на Кубани об этом голоде. Когда улицы зарастали бурьяном выше человеческого роста и люди семьями уходили с насиженных мест в поисках куска хлеба.

Мне довелось пережить голод на Кубани в станице Ильской в 1947 году. Летом был невиданный урожай зерна, колосья клонились к земле, колхозники говорили, что это награда за тяготы военных лет, но не тут-то было. Ночами подъезжали полуторки, выгребали у людей зерно, полученное на трудодни, и увозили на хлебоприемные пункты без объяснения причин. Наших соседей Чумаковых обобрали до ниточки, забрав все зерно, которое у них было. Я видел, как пухла с голоду моя мама, она буквально распухла на глазах, отдавая детям все, что у нее было, что она могла достать, обменять, купить, занять у соседей.

В школу я брал с собой макуху, которая заменяла хлеб, ее вкус я запомнил на всю жизнь. Она была твердой, такой, что детские зубы не могли ее разгрызть, приходи-

лось смачивать ее в воде и только тогда угрызать кусочек. Он был колючим от обилия подсолнечной шелухи, да и лежала на складах эта макуха уже несколько лет. Кушать хотелось даже ночью. Многие ребята просто-напросто не могли ходить на ногах, похожих на тумбы. В школе отменяли занятия, так как в класс иногда приходили всего два-три человека вместо тридцати.

На всю жизнь мне запомнилась хамса, маленькая рыбка, которая ловилась в Новороссийске ранней весной. И за ней мне пришлось, зажав в кулаке тридцатку с изображением Ильича, ночью на крыше вагона ехать в Новороссийск, купив у рыбаков на берегу моря ведро хамсы, везти ее домой и тоже ночью, боясь, чтобы тебя не скинули с крыши более взрослые ребята, которыми кишела трасса Краснодар — Новороссийск, пробираться по темным полям и улицам станицы домой, где без сна ждала мама и голодные брат и сестра.

Вернувшись из мест заключения, отсидев два года и шесть месяцев в Соловецких лагерях, о. Георгий получает назначение от Краснодарской Епархии в станицу Бесскорбную в Свято-Скорбященский храм, Армавирский округ.

С присущей ему энергией принимается он за дело. К его приходу в церковь количество верующих заметно поубавилось, и стараниями советской власти этот животворный ручеек мог пересохнуть, но дед обладал страстной силой слова, он обходил каждый двор, разговаривал с каждым, его знали практически все прихожане. Церковь вновь набирала силу, и вот уже на церковные службы пошли и стар и млад. Возрожден церковный хор, возросло количество крещений.

Октябрь 1937-го, аппарат Советского РОНКВД работает в полную силу. Уже полностью «изъяты» священнослужители станицы Советской и окружающих ее церк-

вей. Взят органами УНКВД его товарищ о. Величко, кольцо вокруг о. Георгия замыкается. Вот кто-то из знакомых сообщает ему, что ведутся допросы свидетелей, да и дети, которых допрашивали, приходят в церковь почти каждый день и сообщают ему о том, что приходили дяди и допрашивали их, восьми-, девяти-, десятилетних детей и их воспитательницу.

9 ноября, ночь, в это время на Кубани обычно ненастная погода, льют дожди, и в ту ночь было ненастье. Оперативная группа на двух машинах подъехала к церкви. Остановились на улице и через парк подошли к дому священника. Станица спала крепким сном. В эту ночь не лаяли даже собаки, лишь назойливый дождь, который лил за шиворот двигающейся в темноте группе захвата. Роли распределены — внешнее кольцо окружения из трех человек, они становятся у окон и дверей. Сам начальник РОНКВД осуществляет арест и захват. Ордер на арест и обыск подписан им же. Резкий грохот в дверь сотрясает ночную темень, дом в это время крепко спит. Для о. Георгия подобные стуки в дверь не впервой. Это уже было неоднократно, было в Сибири, было в Григориополисской, было во Львовской и Ильской, приходили с проверками, обысками, искали белых, изымали церковные ценности. Да и стучать так могла только власть. Выждав время, о. Георгий спрашивает, кто там, хотя четко знает — пришли за ним. Через это он уже прошел. Знают об этом и матушка Евдокия и малолетняя дочь Юля. У отца Георгия всегда наготове котомка со сменной белья и все, необходимое для арестантской жизни.

Дверь с шумом распаивается, и бригада врывается в дом, теперь до утра будут производить обыск. Все это уже было: станут искать оружие, нелегальную литературу, ценности и прочее, чем можно в таких случаях поживиться. Остаются плачущая жена и

малолетняя дочь. Отца Георгия увозят под утро, так и не найдя зацепок и улик в отношении противоправной и контрреволюционной деятельности. Его привозят в районное отделение НКВД, где бросают в камеру и на время забывают о нем.

23 ноября допрашивают колхозного сторожа Антона, безграмотного, он и расписаться-то не мог. Но вопросы ставятся следователем Павленко весьма основательно, первое требование — рассказать о контрреволюционной пропаганде попа Букина, которую он допускает во время своих проповедей. Вот оно, долгожданное показание свидетеля.

«Поп Букин во время проповедей, которые он часто проводил по праздникам и воскресеньям, систематически занимался протаскиванием контрреволюционной агитации, в которой он явно высказывал недовольство Советской властью. В 1936 году Букин Георгий объяснял прихожанам: «Советская власть — это власть антихриста», уговаривайте, братия и сестры, своих мужей и детей идти в храм Божий и не бросать его, и только тогда на нас Бог оглянется. В 1937 году поп Букин дошел до такой наглости, что стал в своих проповедях призывать бросать работу в колхозе и идти в церковь, при этом говорил, что в это «смутное и лукавое время люди забыли о Боге, поэтому и живем плохо, поэтому нет урожая, надо спасать свои души и всем идти в храм Божий несмотря ни на какие работы».

Кроме того, Букин распространял клеветнические утверждения и измышления о голодной жизни в стране и в проповедях говорил так: «В настоящее время вы наказаны Богом, ходите голые и голодные, если бы помнили Бога и ходили в храм Божий, то и жилось бы вам легче, чем сейчас, а сейчас вы страдаете». 6 ноября, в престольный праздник поп Букин среди верующих распространял контрреволюционную пропаганду. Он говорил о том, что «без благослове-

ния Божьего у нас нигде нет ладу, даже в государственных делах, что это вражеское, лукавое время».

Официальный протокол допроса был составлен лишь 23 ноября, то есть, через 14 суток после ареста. Отец Георгий признал «правду о своей контрреволюционной деятельности». Вот его показания, которых добивались все эти 14 дней следователи, они буквально выбиты из о. Георгия, а надо вспомнить о его богатырском росте и недюжинной силе.

«Возвратясь из тюремного заключения и питая непримиримую злобу к советской власти, я восстановил связь с контрреволюционным казачеством, ныне изъятым органами НКВД, и среди верующих жителей станицы Бесскорбной, во время совершения церковных обрядов, систематически занимался протаскиванием контрреволюционных клеветнических измышлений о «голоде», жизни в стране Советов, и в 1936 году, в декабре, я говорил верующим, что в настоящее время, лукавое, вы наказа-

ны Богом, ходите голые и голодные, если бы людей ходило в церковь больше, то и жилось бы лучше, чем сейчас.

В конце 1937 года о. Георгий был расстрелян.

Так на пятьдесят втором году жизни погиб мой дед, священник Георгий Иванович Букин. Родным и друзьям все эти годы вплоть до 1993-го ничего о нем не было известно. Из ответов УНКВД: он отбывает срок на Крайнем Севере, он в ссылке с запретом переписки, он умер от сердечного приступа, — вот стандартные отговорки на запросы и вопросы. Мою бабушку Евдокию Петровну просто-напросто припугнули и посоветовали ей срочно уехать с несовершеннолетней дочерью как можно дальше, ибо УНКВД поручиться не может, что не займется и ею, Евдокией Петровной. Побросав нажитое, собрав немудрящий скарб, она вместе с дочерью уехала сначала в Москву, а затем на Дальний Восток к одному из своих сыновей.



Перед войной мать протирала пыль в святом углу на иконах, лампадке, а за стеклом, на иконе показалась бумажка... Это наш отец в тридцать третьем году, еще живой, чья арест и неминуемую гибель, написал нам напутствие: если вы живы останетесь, деточки, когда-нибудь напишите на память всем, как люди умирали от голода, как уничтожали наш народ...

*Е. М. Х - в,
станция Марьянская, 2002 год*



СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 33-Й ГОД

К осени 1932 года станицы и хутора Северо-Кавказского края*, куда входили Кубань, Дон и Ставрополье, были потрясены грабежом крестьян, повлекшим голод и смерть безвинных людей. Уже в постановлении ноябрьского 1928 года Пленума ЦК ВКП /б/ по докладу Северо-Кавказского крайкома партии отмечалось, что «практика налоговой работы, хлебозаготовок 1927-1928 годов указывает на массовые случаи перегибов... когда недопустимо извращалась наша линия в отношении бедняка и середняка». Тем не менее прокатившаяся по краю первая волна репрессий 1928-1929 годов согнала с обжитых мест тысячи крестьян. Многие из них, избежав ссылки, со справками сельских Советов на руках о лишении их гражданских прав (как тогда говорили, «поражением в правах»), подались в города и промышленные центры, пополняя очереди безработных на биржах труда.

До недавнего времени в учебниках истории КПСС можно было прочитать: «Руководствуясь постановлением ЦК, партийная организация Северного Кавказа усилила работу по коллективизации крестьянских хозяйств и осенью 1929 года добилась поворота в колхозы крестьянина и казака-середняка; она первой заявила на Ноябрьском Пленуме ЦК ВКП /б/ о переходе к сплошной коллективизации края и проведении ее за полтора года, то есть к лету 1931 года. Каким же образом крестьянин и казак-середняк повернулись лицом к колхозу?

Известна директива Северо-Кавказского крайкома ВКП /б/ от 19 июня 1929 года: «О мерах по ликвидации кулацкого саботажа хлебозаготовок». Этот документ послужил как бы

предтечей второй волны массовых репрессий в отношении казаков и крестьян в селах, станицах и хуторах края. Автором директивы был тогдашний первый секретарь крайкома партии Андреев, долгие годы занимавший при Сталине, а потом и при Хрущеве, самые высокие посты в партии и правительстве. Директива была утверждена бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП /б/, протокол № 16, *параграф 330*. Текст документа был передан по прямому проводу всем областным и окружным комитетам партии.

Основное требование директивы — изъятие у населения края хлеба. Главной причиной «саботажа» считалось сопротивление так называемого кулака. Давались рекомендации, как под видом законности, якобы инициативы снизу, провести эту кампанию, как эффективнее применять статью 107-ую УК РСФСР, предусматривающую лишение свободы на срок до трех лет с полной или частичной конфискацией имущества. Так, например, за невыполнение обязательной раскладки (урожай определялся на корню с каждого земельного надела депутатскими группами местных Советов — и, как правило, завышался), за сокрытие 50-100 пудов хлеба любой труженик лишался земельного надела и высыпался из станицы. Какая у него семья, сколько едоков — во внимание не принималось. Если мы сейчас говорим, что для безбедного существования на каждого человека необходимо производить в год примерно тонну зерна, что же говорить о том бедолаге, который, имея десять душ детей, корову, птицу и тягло, припрятал подальше от недобрых глаз тонну-две пропи-

* В августе 1920 года Кубано-Черноморская область была подчинена Революционному совету Трудовой армии Юго-Востока России (командующий — А.Г. Белобородов-Вайсбарт, один из организаторов убийства царской семьи). Ревсовтрударм прекратил свою деятельность в 1921 году, а название Юго-Восток за территорией сохранилось. 16 ноября 1924 г. Юго-Восточный край был переименован в Северо-Кавказский с центром в городе Ростове-на-Дону.

танной потом, выращенной им же самим пшеницы?.

Для стимулирования предстоящей экспроприации и поощрения активистов был даже создан десятипроцентный фонд отчисления бедноте конфискованного хлеба. «Не приостанавливайте работы и нажима в хлебозаготовках ни на один день и час,» — призывал в директиве своих подручных секретарь крайкома А. Андреев.

Действительно, партийное руководство Северо-Кавказского края всегда шло в авангарде «сталинского гениального плана реконструкции советской деревни». Но если с выкачкой хлеба из крестьянских амбаров было все ясно, то не совсем было понятно, как поступать с самими крестьянами, оказавшимися в преддверии зимы без средств к существованию. Вот, к примеру, какие вопросы задавали докладчику о сплошной коллективизации Кубани на Пленуме Краснодарского райкома ВЛКСМ 26 декабря 1929 года: 1. Когда крестьянин идет в колхоз, дает ли он свою землю в колхоз или нет? 2. Будут ли кулаки принимать в колхоз? 3. За срыв мероприятий коллективизации кулаком, какие меры принимаются, укажите факты? 4. Кулаки останутся вне колхоза, что с ними будет во время сплошной коллективизации? 5. Если крестьяне не захотят идти в колхоз, что с ними будут делать? 6. Можно ли организовать кулацкий колхоз? 7. Как можно разделить кулаков и зажиточных, какие признаки? Ответ на эти вопросы дала заседавшая в декабре под председательством наркома земледелия Я.А. Яковлева (Эпштейна) комиссия Политбюро ЦК ВКП/б/. В состав ее вошли: секретарь Северо-Кавказского крайкома — А.А. Андреев, Средне-Волжского — М.М. Хатаевич, Нижне-Волжского — Б.П. Шелобдин, Казахстана — Ф.И. Голощекин, Центрально-Черноземной области — И.М. Варейкис, Московской — К.Я. Бауман, от ЦК ВКП /б/ Украины — С.В. Косиор и др. Комиссия подготовила проект о темпах коллективизации в различных районах СССР. В частности в нем го-

ворилось, что с переходом к сплошной коллективизации такая мера борьбы с кулачеством, как недопущение его в колхозы и исключение из колхозов, недостаточна и что сама жизнь поставила вопрос о раскулачивании зажиточных слоев крестьянства. В качестве практических мер по отношению к кулаку комиссией было рекомендовано:

1. Проводить в районах сплошной коллективизации экспроприацию всех средств производства раскулачиваемых хозяйств и передавать их в неделимый фонд колхозов.

2. Выселить и выселять по постановлению сельских сходов и сельсоветов тех крестьян, которые будут оказывать активное сопротивление установлению новых порядков.

1930 год был ознаменован дельнейшей вакханалией насилия и произвола, разорением всех без разбора крепких хозяйств.

Вслед за постановлением ЦИК и Совета народных Комиссаров от 1 февраля 1930 года «О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» президиум Северо-Кавказского крайисполкома принимает свое постановление о ликвидации кулачества как класса. Это постановление развязало на местах руки всей командно-административной верхушке, хорошо усвоившей троцкистско-сталинский стиль руководства и методы диктата в отношении крестьянства, а по сути — всего народа.

Никогда еще станицы не подвергались такому опустошению. Под предлогом борьбы с контрреволюционерами, кулаками и саботажниками хлеб отбирался у всего населения. Тысячи людей изгонялись с родных мест, без средств к существованию, в принудительном порядке размещались на необжитых землях, лишенные какой бы то ни было правовой защиты перед лицом ура-революционной стихии. С полной нагрузкой работала созданная 11 марта 1931 года комиссия под председательством бывшего секретаря Северо-Кавказского крайкома партии А. Андреева, за «заслуги»

в деле коллективизации сельского хозяйства назначенного к тому времени заместителем Совета Народных Комиссаров. Комиссия эта представляла собой своеобразный Госснаб по удовлетворению заявок хозяйственников в рабочей силе. Вместе с начальником ГУЛАГА ОГПУ Коганом она обеспечивала стройки социализма рабами. Некоторые села Дубовского, Прикумского, Дивенского районов Северо-Кавказского края были преобразованы для приема спецпереселенцев. Цифры говорят: за пределы края на 9 марта 1931 года из районов Кубани и Черноморья было выселено около 10 тысяч хозяйств. Трудно сейчас сказать, сколько это человек. Для райкомовских статистиков не существовало стариков, женщин, детей. Например, бюро другого — Северного крайкома ВКП (б), куда входили нынешние Архангельская и Вологодская области, на внеочередном закрытом заседании приняло план расселения в крае 70 000 семей раскулаченных (в основном выходцев с Украины и Кубани). Было решено трудоспособных мужчин партиями в 500-1000 человек направить в районы постоянного поселения для использования их на лесозаготовках, сплаве и др. работах. Остальных нетрудоспособных членов семей разместить в специально приспособленных помещениях: церквях, монастырях и т.п. Семьи расселялись отдельными небольшими — до 100 дворов — поселками, управляемыми специальными комендантами, назначенными органами ОГПУ. Каждой такой семье предполагалось иметь: лошадей 0,5, коров 0,4, плугов 0,25, борон 0,1, пил поперечных 0,1 и т.д. и т.п. Сколько людей погибло в дальних краях от голода и болезней, сейчас не сосчитать никому. Известная статья Сталина «Головокружение от успехов» по сути ничего не меняла в судьбе

несчастных, оказавшихся изгоями в своей стране. Характерна на этот счет докладная записка в центр с Кубани, автор которой жаловался, что «статья Сталина встречена работниками большинства районов Кубани с чувством явного недовольства. Многие из них говорили, что статья испортила нам все дело. Нужно было ее не публиковать, а разослать в секретном порядке.»

Не считаясь с нуждами местного населения, из Северо-Кавказского края безжалостно выкачивали хлеб. Так, в хлебозаготовительную кампанию 1928 года было заготовлено 10790 тыс. центнеров хлебного зерна, в 1929 — 17567 тыс. центнеров, на 25 декабря 1931 года было сдано зерновых 32 миллиона центнеров. Машина раскулачивания, раскрестьянивания неизбежно должна была привести к трагическому исходу...

Экспорт зерна, который часто считают причиной голода в зерновых районах страны, был не настолько велик, чтобы им можно было объяснить продовольственную катастрофу. В 1932 году он составил 1,3 миллиона тонн при оценочной величине урожая 60 миллионов тонн. Основной причиной голода являются грубейшие ошибки в организации колхозов и распределении продовольствия, а также геноцид русского и украинского* народов, санкционированный и организованный партийной верхушкой, дабы посредством голода поставить крестьянина на колени и вынудить его к вступлению в колхоз.

Как бы не доверяя местным властям, на Северный Кавказ, Нижнюю и Среднюю Волгу, Украину из центра были направлены чрезвычайные комиссии. На Украине такую комиссию возглавлял Молотов. Средством хлебозаготовок там стали репрессии. Многие секретари райкомов, председатели райисполкомов, кол-

* Как сообщал в 1927 году выходивший в Краснодаре журнал «Новым шляхом», на Кубани проживало около 80% украиноязычного населения. А в таких районах края, как Брюховецкий, Темрюкский, Староминской, Краснодарский, Павловский — эта цифра доходила до 90 %. В декабре 1932 г. постановлением ЦК и СНК СССР была введена паспортная система. Тем жителям Кубани, которым посчастливилось получить паспорта, в графе «национальность» повсеместно будет записано — «русский». •

хозов, директора МТС объявлялись саботажниками и перерожденцами. Их арестовывали и расстреливали, публикуя сведения об этом в печати.

На Кубани действовала непосредственно группа, которую возглавлял главный вдохновитель и организатор массового голода, секретарь ЦК ВКП /б/, руководитель сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП /б/ член Политбюро Лазарь Каганович. Действия этой чрезвычайной комиссии отличались от действий комиссии Молотова на Украине разве только тем, что никаких сведений о начавшейся голодовке, о расстрелах по приговору «чрезвычайных троек» ни краевая газета «Молот», ни выходившая

в Краснодаре «Красное знамя» не публиковали.

Вот, к примеру, какое сообщение можно было прочесть в газете «Красное знамя» от 14 ноября 1932 года:

«Все 18 колхозов пригородных станиц Пашковской, Елизаветинской и села Калинин с честью выполнили годовой план хлебозаготовок.

Однако единоличный сектор, особенно по станице Пашковской, продолжает отставать.

Все силы партийных организаций, все силы колхозного актива — на выполнение хлебозаготовок по единоличному сектору.

Кулацкий саботаж должен быть сломлен.

Опыт колхозов Пашковской и села Калинин



Река Понура.

На ее берегах стоят станицы: Новотитаровская, Нововеличковская, Калининская, Старовеличковская.

но перенести в отстающие колхозы Краснодарского района.»

А вот реляция Славянского стансовета от 14 декабря 1932 года:

«...Славянский стансовет постановляет: предложить всем комсодам, старостам депутатских групп немедленно переключиться на борьбу за хлеб, напрячь все силы и отыскать хлеб, запряганный кулацко-зачиточными хозяйствами.

Предложить всем комсодам весь обнаруженный укрытый хлеб сдавать на элеватор, одновременно отмечая факты злоупотреблений комсодами, что при изъятии конфискованных зерновых культур комсоды производят изъятие денег и других вещей недоимщиков...»

А вот из обзора Северо-Кавказского крайсовпрофа о помощи шефов в организационно-хозяйственном укреплении колхозов:

«Рабочие шефбазы Союзмаргарина т. Галкин, красные партизаны тт. Шапошников и Мирошниченко показали себя, как активные борцы с кулацким саботажем. Тов. Галкин разоблачил в подшефном колхозе 22 кулака и подкулачника, открыл много ям с зерном, в том числе одну с 400 пудами чистосортной пшеницы.

Рабочий того же завода тов. Бремер открыл в подшефном колхозе 187 ям с зерном общим весом в 5 тыс. пудов.»

Газета «Молот» сообщила:

«Недавно на общем собрании профессорско-преподавательского состава и студентов Северо-Кавказского института свиноводства выступил тов. Чуйко с призывом, обращенным к научным работникам, — выявить свое отношение к партии, советской власти и вредительским организациям, раскрытым ОГПУ.

В центре станицы Новотитаровской когда-то красовалась деревянная церковь во имя Андрея Первозванного. Возле нее — громадная площадь. На ней устраивались смотры. Отсюда отправлялись казаки на все четыре стороны защищать мать-Россию.

Храм сожгли в 28-ом году. Через пять лет за церковной оградой, от которой к тому времени не осталось и следа, на месте последнего приюта почетных виднейших жителей станицы отрыли громадную яму. В нее сваливали тела умерших от голода людей. В шестидесятых годах на этой общей могиле устроили танцплощадку.

Рассказывают, когда экскаватор рыл фундамент — в самосвале земля была перемешана с костями. Сегодня над танцплощадкой-могилкой нет креста, не горит поминальная свеча, нет скорби и памяти нет. В тридцати метрах от нее подобие мемориалу Неизвестному солдату в Париже. Горит огонь... Лежат пожухлые цветы... Две сотни бойцов 309-ой стрелковой дивизии полегли здесь, выбивая немцев из станицы в зиму 43-го. Здесь же стоит надгробие солдатикам, погибшим в Афганистане; отдельно — памятник летчикам 207-го полка авиации дальнего действия.

Наверное, нет в крае ни одной станицы, где бы стадион не размещался на бывшем кладбище, Дом культуры, танцплощадка - на месте собора, погоста или захоронения.

У моего деда — Павла Кирилловича Макаренко, было 8 детей, т.е. моих будущих дядьев и теток. Старший сын — Стефан Павлович, женатый на Варваре, имел 13 душ детей. В голодовку умерли все. Макар Павлович, женатый на Прасковье Леонтьевне, имел 9 детей. В голодовку из всех них выжила одна Мавра. Дмитрий Павлович, женатый на Александре, имел 4-х детей. В голодовку выжило лишь двое. Позже Иван погиб на границе в первые дни Отечественной войны, а Прокофий, тоже фронтовик, но ему повезло, умер в 1980 году. Василий Павлович, женатый на Татьяне, вместе с двумя детьми захоронен в общих могилах станицы Новотитаровской. Спиридон Павлович, женатый на Анне Александровне, имел двух детей: сына и дочь. Клавдия и Борис здравствуют и поныне. Дочь Анастасия Павловна, замужем за Дмитренко Гавриилом, имела четверых детей. Александр, Петр, Акулина

вместе с родителями умерли в голодовку. Выжил их старший сын — Герман. Во время войны ушел с немцами. В Голландии был жив, по крайней мере, до 1973 года. Евгения Павловна, замужем за Васильченко. Умерла 12 лет назад. Сын ее — Григорий — жив, но мы не общаемся. И, наконец, мой родитель, Серафим Павлович. В 28-ом женился на Анастасии Давыдовне Есаулко. В этом же году были раскулачены, но не высланы. Ночью бежали в Краснодар. Я подсчитал: только моих двоюродных братьев и сестер лежит в Новотитаровских ямах 33 человека. А сколько племянников, дядьев и теток? Кто знает? Кто помнит?

Летом 2001-го года Краснодарское краевое радио провело экспресс-опрос: нужен ли станице, возрождающейся на прежнем месте, храм Андрея Первозванного? Большинство ответило — против. А причина такова: здесь молодежный центр и негоже, мол, церкви подпирают забегаловки, кафе, бары.

Если проехать Новотитаровский рынок по улице Широкой до поворота на станицу Нововеличковскую, то справа от кольцевой дороги, среди неухоженных могилок можно увидеть недавно насыпанный казаками курган с православным крестом наверху. Это одно из трех громадных захоронений во время голодовки 32-33 гг. О других двух общих могилах в станице уже не помнят. «На их месте сирень должна расти», — вспоминает восьмидесятипятилетняя Мария Павловна Диденко. Территория МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям) почти примыкает к трассе. За высохшим каналом пасутся коровы, козы. И никакой сирени! Полынь и амброзия...

Пронесются мимо машины на станицу Калининскую, Новониколаевскую, Гривенскую. Толстым слоем укрывает придорожные бурьяны пыль. Забвение, как летний зной, лежит на наших сердцах, и только жаворонок в зените своей песней непонятно тревожит душу.

Рассказывают, станица Новотитаровская с прилегающими хуторами насчитывала 25 тысяч человек. Когда весной 33-го года измож-

денных голодом людей выгнали на поля для проведения весеннего сева, то списки на получение баланды в бригадах насчитывали 5 тысяч едоков. Допускаю, что еще 5 тысяч стариков, детей, инвалидов не вышли на работы. Такое же количество людей было выслано из станицы, разбежалось по городам и весям в поисках лучшей доли и куска хлеба. Где же остальные десять тысяч?!

Лежат они в общих могилах по всей станице. Без причастия и покаяния, без нашей памяти о них, безвинно замученных.

Из-за просчетов, допущенных при планировании и проведении хлебозаготовок, созданные к 1933 году в станице Новотитаровской и близлежащих хуторах колхозы сами оказались в трудном положении, не имея достаточного количества продовольственного зерна, фуража, семян. Выплата колхозникам денежных и натуравансов предполагалась только после выполнения любой ценой плана хлебозаготовок 1932 года. Разумеется, чтобы реализовать этот план, необходимо было выбрать все зерно, имеющееся у населения. Для этой цели при сельсовете и правлениях колхозов срочным порядком создавался так называемый актив из запуганных, вчистую ограбленных колхозников и всякого рода проходивцев, искавших легкую для себя жизнь или случай погреть руки на чужой беде.

Станица была разбита на кварталы; соответственно, каждый квартал относился к какому-либо колхозу. На 33-й год их было больше десятка: пять колхозов «Большевик», колхоз имени Энгельса, «Комсомолец», «Красный партизан», имени Блюхера, Шеболдаева, Молотова, Кагановича. Ни один председатель колхоза не был уроженцем станицы, все были присланными на должность людьми, в большинстве своем мало что понимавшими в крестьянском труде. Часто они окружали себя деклассированными элементами, угодниками, прихлебателями, творившими беззаконие и произвол. Почти в каждом колхозе была своя кутузка или как ее окрестили в народе - казе-

СТИСОК

28761

Page 11
 11/11/11
 11/11/11

36 СЕРИИ 2010

38 REFERENCE NUMBER 41-

Ad. CONFIDENTIAL

4 JULY 1964

4-5 MODKALINHO 1953

RECEIVED FBI WASHINGTON 94

48. ГОРОДОВ ИЛИ ПОВСЕЛЕНИИ

10-10-1964

SECRET - CONFIDENTIAL

RECEIVED NOV 11 1964

[Faint handwritten text at bottom right]

[Faint, illegible markings]

10-10-68

[Handwritten signature]

12/22/72

THE UNITED STATES OF AMERICA

2

матка. В самой станице таких казематов было три. Арестовать, посадить под замок мог любой начальник, начиная от бригадира колхоза...

Трудно представить себе сейчас то, что творилось тогда в станице и хуторах. Конституционный лозунг «кто не работает, тот не ест», — впрямую воплощался в жизнь прежде всего, уничтожением стариков и детей. Но сколько бы мы ни ворошили документы тех лет, ничто не может затмить свидетельств живых очевидцев.

Григорий Ефимович Мощан,
1907 г. рождения, х. Сосновский.

— Раньше эту землю арендовали у помещиков Коржа и Кравчины. Кондрат Давыдович Наугольный организовал здесь в 20-х годах комбед, а потом артель «Братство и революция». Объединяла она семей 12 - 13. Поначалу лошадей было всего голов пять. Позже стали принимать в артель со своим вступительным взносом — 10 пудов на семена. Председателем у нас в то время был Соболев, я — у него заместителем.

Когда стали проводить сплошную коллективизацию и «купачить» всех подряд, к нам зарядили уполномоченные с тем, чтобы завязать нас в колхоз. Деваться некуда. Поехал я в Краснодар (тогда он был райцентром), в райколхозсоюз. Там пошли навстречу. Посоветовали нам сделать коммуну. Все обобществить, провести собрание, принять новый устав. Помог нам все это сделать корреспондент газеты Кошкин. Обобществили мы инвентарь, имущество, мелкую скотину, птицу, дома — короче, все. После этого уполномоченные поутихли. Коммуна то являлась высшей формой организации коллективного труда!

До 33-го года не могли с нами справиться. Прислали председателем Кодовбенко. Молодой, языкастый, в армии отслужил. Через время, смотрим, родню свою потянул в коммуну. Выписал распоряжение: отпустить со склада ~~чего~~ себе и начальству. Я его бумажку порвал.

Однажды вызвали в Новотитаровский сельсовет на хозпартактив. Проводил его Кагано-

вич. Что он там говорил — не помню. А был такой председатель колхоза «Большевик» Шустов — участник гражданской войны, краснознаменец. Так Каганович орден с него сорвал. Шустов, оказывается, не все зерно сдал, оставил колхозу на семена и харчи. И еще вроде бы где-то он сказал, что наша страна, мол, до того крепка — Сталина не будет, а страна будет. Больше Шустова я не видел. Говорили, что ему и другим дали по три года, но в станицу они не вернулись. Немного погодя колхоз «Большевик» был назван колхозом Кагановича, а другой «Большевик» — имени Молотова.

Из нашей артели ни одна семья в голодовку не померла. Один раз ехал я из сельсовета мимо стодворки, думаю, дай хоть борону возьму — все ж брошено, людей нету, бурьяны кругом выше головы. Зашел в дом к Хулапам, а там, — аж вспоминать страшно... Дети на печи мертвые лежат, сама Фроська Хулап на лавке, тоже мертвая, а дите грудное у нее сисью сосет. Я его в станицу отвез. Хулап Яшко, дядька их, живой еще был. Потом дите это, я узнавал, в Елизаветинскую отдали родне какой-то. Может и по сей день парнишка тот жив-здоров ходит.

Из Новотитаровской МТС наладились политотдельцы к нам с проверками ездить. Проверят там чего, а потом кушать требуют. Раз дали им обед с детских яслей, другой раз, а потом я сказал — не прогневайтесь. Спустя время приехал в артель судья Скиба, назначил народных заседателей, и нас, членов правления, Пилюту, Медведева и меня осудили по 110-й статье, за превышение власти. Упекли на три года тюрьмы.

Как выжил — сам удивляюсь. И тифом в Краснодарской тюрьме болел, и на канале «Москва - Волга» работал. Вот живой, значит, удачливый.

Иван Иванович Игнатенко,
1904 г. рождения, х. Сосновский

У нас в активистах ходили бывшие красные партизаны, иногородние, ну и молодежь. Из казаков не было никого. В 30 — 31-ом году из

хутора выслали всех хороших хозяев, а в 32-ом опять разнарядка пришла на высылку. Я уже жил отдельной семьей, а тестя и тещу выслали на Ставропольщину, в село Птичное. Оттуда они не вернулись, скорей всего, померли.

В 1933 году я работал в колхозе Молотова. Работали за палочку в табеле. Харчей домой никаких не давали. Готовили в бригадах баланду. Варили два котла: один густой, другой «филонский», для тех кто на работе, как говорили, филонит. Так, болтушка жидкая. Наблюдать за котлами в бригадах был приставлен специально человек, говорили, что из Москвы. Ему за это выдавали в день хлеба, граммов 300 — 500. Кто доходил и не мог хорошо работать, тому давали вот эту жиденькую баланду, чтоб скорей, значит, перекинулся. Я работал при конях. Лошадям давали кой-какое зерно, фураж. Вот то я и кормился. Раз парень один, не помню его фамилии, собрался бороновать. А слабый был. Через кочку споткнулся и упал, лежит, встать не может. Мне этот уполномоченный из Москвы и говорит: «Видишь, не хочет работать, филонит». Парень этот утром кончился.

Было и так, что мы по 350 человек за день в яму свозили. Особенно много детей было. Вспоминать не хочется.

Анастасия Давыдовна Есаулко,
1909 г. рождения, г. Краснодар

Я вышла замуж восемнадцати лет. Муж был из многодетной семьи, сирота. Отделили нас, начали мы хозяйничать самостоятельно. А в 1928 году, осенью, приехали ночью на линейке и забрали меня в сельсовет. Искали мужа, но он в тот день сено на Биявцах косил. У меня уже на руках Надя грудная была. Продержали нас неделю в подвале, допытывались: держали мои родители до революции батраков или нет? А что я помню? Первый год в школу пошла — «Боже, царя храни» пели, на второй — «Интернационал». Так им и сказала. Отпустили меня домой собираться на высылку (вещей с собой в дорогу разрешали брать два пуда). •

Но не тут-то было! Утекли мы с мужем и дочкой в Краснодар. Ох, и помыкались по чужим углам. Таких как мы — пораженных в правах — тысячи скиталось.

Осенью 32-го года муж устроился работать сторожем на Биофабрике. Там, в охране, много новотитаровских было. Держались друг дружки. От великой нужды харчи в фабричной столовой приворовывали. Страшно вспомнить тот проклятый 33-й. Стали приходиться к нам на квартиру из станицы родичи, мои и мужа: Шевченки, Волошины, Васильченки, Кравченки, Коломийцы, Белые. Самим нам повернуться негде было, а как людей выгонишь? Некоторые уже пухлые были, завшивевшие. Часто приносили продать на рынке вещишки умерших детей. А кому эти тряпки нужны были?

Муж ругался, у нас уже двое детей было, а я чем могла, тем помогала. Христе Волошиной пригоршню муки дала для детей, а она вышла за калитку и, я смотрю, ест эту муку прямо с рук. Умерла, сердечная, где-то. И дети ее умерли. Васильченко привела из станицы своих детей, чтобы оставить их на базаре. Тогда милиция детей таких подбирала. А где Нюра сама кончилась, я так и не знаю.

Ирина Михайловна Москаленко,
1918 г. рождения.

Нас у родителей было десять человек: девять сестер и один брат. В 32-м году от тифа умерла мамаша, Елизавета Герасимовна, а в следующем году — отец, Михаил Феодосиевич. Старшие сестры и братья поразъезжались кто куда, а мы трое остались в родительском доме. Дом этот хотел забрать колхоз, но мы из дома не выходили, и они про нас забыли. Но как сейчас думаю: к 33-у году появилось много заброшенных домов, и мы им стали ни к чему.

Когда нечего стало есть, мы пошли жить по соседям, а потом в бригаду. На улице Заречной открыли колхозный детдом, и нас определили туда. В то время в Новотитаровской было колхозов восемь, и каждый из них имел свой

детдом. Нас в детдоме было 45 человек. Помню председателя колхоза по фамилии Рябчун. Так он нас просто уничтожал. Одежду забрали. Одна стеганка на всех и одни галоши — в туалет сходить. Ночью спали на соломе и соломой укрывались. Вши и гниды нас просто заедали. Вера, сестра моя, она двенадцатого года рождения, так и умерла в детдоме. Меня тоже выбросили в чулан, но Господь помог, я выжила.

Однажды ночью слышим, кто-то едет. Вокруг пустые дома стоят, все повымерли. Мы лучины жгем, плачем. Приехал новый председатель колхоза — Романец. Увидел нас, и не поймет: где мальчики, а где девочки. Тогда, говорит, мальчики, берите меня за левую руку, а девочки — за правую. Одежду будем вам шить.

Утром слышим: две гарбы едут. Мы боимся. Говорили, в станице людоеды появились. Плачем. Опять приехал председатель, привез хлеб, крупу, сметану. Кухарке наказал готовить супчик и нам по две ложечки давать, чтобы не поумирали. Привез материю тюками, модисток. Трое суток шили. Нам по два атласных платья, по двое трусов, по две рубашки. Хлопцам — костюмы. Привезли кровати, одеяла, матрацы из ваты. Через неделю мы пошли в школу. Три года, пока был Романец, мы получали по 400 грамм хлеба в день и крупу, и мясо, независимо от того, работал ты или нет. До сих пор вспоминаю председателя как отца родного.

Из наших детдомовцев Наталья Резниченко живет в Нововеличковской; Чуприна еще жива — в Новотитаровской; Мищенко Петро — умер; Дьяченко Шурка тоже умер в Новотитаровской. Упокой, Господи. Наверное, и я скоро пойду за ними.

Перелистываю пожелтевшие записки... Еще живы мои родители и уцелевшие от голода и войны родичи. Мавра Макаровна Коломиец... Двоюродная сестра, 1910-го года рождения. Разница у нас в возрасте — 40 лет. Обижается, когда я и мои братья называем ее «тетя Маруся». «Яка я вам Маруся? Зовите Макаровна». Так

и звали Мавру, то Маруся, то Макаровна.

— Нас у батьки с мамашей девять душ было. Все уже в хате покотом лежат. А на мне сапожки юфтевые. Ноги распухли — снять не могу. Утром встала — папаша с мамашей уже холодные. Братики-сестрички — кто шевелится, кто и тихо лежит. Саму мотает из стороны в сторону. На улице грязь чуть-чуть морозом прибитая. Я и пошла балочками, камышами на Водники. По дорогам НКВД стояло. Людей, кто хотел из станицы уйти, назад завертали. Потом в город подалась. На Покровском рынке шило на мыло меняла. — Смеется. — Говорю, выжила, потому что сапоги снять не смогла. Куда ж без сапог по морозу?

Рядом с Маврой — Пидганья. Не помню уже, как ее звать по имени-отчеству. Дородная и голос начальственный. На «балочке», где я всегда останавливался у сватов родителей, ее так и дразнили: «Начальник».

Однажды во дворе, в беседке, выпив по стаканчику домашнего винца, женщины загалдели, а Пидганья хорошим баритоном затянула:

«Встань-ка, Ленин, подывыся,
Як колхозы развылыся...
Хаты раком, гарбы боком,
Три коняки с одним оком,
И кобыла без хвоста...
Коперация пуста!
Нэма выл, немае грабэль,
Нэ заносять нас у табэль...

Вставай, Ленин, подывысь,
Як сэляне разжились.
Ой, на хате серп та молот,
А у хати смерть та голод».

— Ты чего, «начальник», опять по тюрьме соскучилась?

Было это в 1965-м году.

Листаю блокноты. Жалею... В те годы не было видеокамер, да и магнитофон был в диковинку. Чьи слова записал? Да и было ли это?..

«Я была здоровой и норму выполняла. За это давали в обед кроме жидкой похлебки кусок туго сваренной кукурузной муки — мамалыги. А в конце пятидневки кладовщик отпускал мисочку муки пополам с семенами су-репки. Кормили отдельно выполнивших норму и невыполнивших. За этим следила повара-риха».

Тарасенко Варвара (Леонтьевна) упала прямо на поле, на прополке буряков. Ее, еще живую, — в яму. В яме ползала день, просила вытащить. Бригадир Бريدня ей говорит: «Куда ты го-жая?»

Остались два сына: Василий Павлович и Андрей Павлович. Оба воевали в Отечествен-ную. Андрей пропал без вести в первые дни войны.

Уполномоченный Жуков если приезжал в станицу, значит, кого-то посадят.

Колхоз «1-й Большевик». Председатель при-сланный — Кузьменко. Бригадир Литвинов Никита Андреевич. В 32-м Кузьменко забрали как троцкиста.

На месте нынешнего Новотитаровского отделения милиции находился карцер (№1). На-зывали его «казематка». Где бывшая сберкас-са — 2-я «казематка». При сельсовете — карцер под замком.

Колхоз «Большевик»; потом «им. Молотова»; потом «им. Калинина». Специализировался на выращивании свеклы и клещевины. В 33-м году председателем стал Василий Сидорович Бабенко, уроженец хутора Миловидов.

Сейчас уже никто не помнит, откуда был родом и кем прислан в станицу председатель колхоза имени Блюхера товарищ Ковган. По-мнят его комсодовцев, особенно активисток: Кильпиху, Федору Хвесью, Гальку Толстолух.

Это они шарили по горшкам, конфисковыва-ли тряпичные узелки с завернутыми в них се-менами огурцов, моркови, кабачков. Заодно были не прочь прихватить и глянувшееся им детское одеяльце или занавески с окон «сабо-тажника».

Бригадир Литвинов начал ездить по хатам, искать мертвых. Брали ключкой (крюк для выдергивания сена из стога) за подбородок. Попадались и живые. Давали 400 гр. хлеба за труп. Ездили на лошадях Загурский Григорий Васильевич и Карпенко Кузьма Петрович. Воз-ле общей ямы, куда свозили, — приемщик был, отмечал, кого привезли.

Сын отца зарубил и засолил.

В скирде нашли 18 людских голов.

Станица Поповическая 31 декабря 1934 года была переименована в Кагановическую, а 11 сентября 1957 года — в Калининскую.

В станице Новотитаровской на квартале — ул. Садовая и Дзержинского — осталось всего три хаты, т.е. три семьи: Перепелица, Сенник, Бريدни.

Матрена Пидганья — бывший секретарь сельсовета в 32— 33 г. Посадили перед окку-пацией.

Калейник Софрон Елизарович, комсомолец. Уговорил тетку спрятать в колодец пшеницу, а потом заявил на нее. Дали ей срок, она в ла-гере и померла. Фамилия ее Задорожная.

Кладбище — напротив аэродрома, где мель-ница была гороховая, ссыпки. Клали в общую могилу. Из гробов вытаскивали, чтоб меньше места занимали. Шар уложат — присыпят зем-лей, потом снова шар.

Я стою у насыпанного казаками кургана. Оживленная трасса Краснодар — Ейск огиба-ет его, шелестит колесами проносящихся мимо машин. Никто не останавливается. У подножия кургана не лежат цветы.

Рассказывают, в хрущевские времена правление колхоза решило распахать это кладбище. Но люди не дали. Еще жива была память и живы те, кто пережил все ужасы начала 30-х.

Табу, наложенное властями еще при Сталине на темы, касающиеся голода 32 — 33г., сохраняется и поныне. В сотнях исторических работ, вышедших на Кубани как в советские времена, так и в нынешние, о голоде — ничего. Казалось бы гласность, доступность архивов должны были подвигнуть историков раскрыть трагические страницы, но...

о голоде — ничего.

Тем не менее из Ростова-на-Дону прислал в редакцию журнала свои размышления доктор исторических наук, профессор РГУ М. Г. Чернопицкий. Старший научный сотрудник Краснодарского историко-археологического музея Н. Н. Суворова передала дневники Ивана Лазаревича Полежаева. Из станицы Пашковской передал записи своего деда Терновой Николай Вячеславович. Большой материал прислала в редакцию журнала директор Полтавского музея истории Людмила Григорьевна Косенко. Сотрудники научно-исследовательского центра Кубанского казачьего хора (руководитель профессор Н. И. Бондарь) передали в журнал записанные ранее живые свидетельства. Десятки людей поделились своими воспоминаниями...



ГОЛОД 1932 — 1933 г. НА КУБАНИ

В 1932 году Я. А. Яковлев, нарком земледелия, учитывая опыт предыдущих лет сделал необходимые расчеты для определения размеров товарной части хлеба, подлежащей сдаче государству. В основу расчетов были положены, как и раньше два принципа: 1) дифференцированный подход к установлению норм сдачи: для зерновых районов он установил норму изъятия хлеба в 23%, а для потребляющих — в 7% от валового сбора зерна; 2) была установлена средняя норма товарной части зерна, подлежащая сдаче государству — не более 17% от валового сбора всей страны. Все это позволило государству заготовить хлеба со всех секторов около 1150 млн. пудов.

Эти расчеты он послал письмом на имя Сталина, Молотова, Орджоникидзе. Но они, и прежде всего Сталин, не согласились с Яковлевым. Они заявили, что эти расчеты являются заниженными и не покрывают потребностей страны в хлебе. Было специально подчеркнуто, что крупные социалистические хозяйства должны давать хлеба больше, чем крупные капиталистические хозяйства. Они увеличили норму товарного хлеба, подлежащего сдаче государству, до 40% от валового сбора (с 23%) и утвердили единый государственный план хлебозаготовок для всей страны с едиными нормами в виде твердого задания, как для производящих, так и для потребляющих районов.

Это внесло смятение на местах. Колхозники поняли, что эти планы непосильны, и они останутся без хлеба, хозяйство колхозов будет подорвано. План составлял по Северо-Кавказскому краю 29,6 млн. ц, а урожай — 35 млн. ц. Особенно в трудном положении оказались колхозники крепких колхозов, им приходилось выполнять планы за слабые колхозы, произво-

дящие районы вынуждены были сдавать хлеб дополнительно за потребляющие районы. Во многих колхозах вывозилось зерно, оставленное на продовольствие, и даже семенное зерно; распределение доходов среди колхозников было сорвано. Это привело к тому, что стала падать трудовая дисциплина: колхозники, видя, что они ничего не получают, стали работать плохо. Боясь голода, колхозники стали расхищать зерно с токов, прятать его. Из многих районов страны в ЦК и СНК стала поступать информация о нараставших хищениях хлеба. Сталин расценил это как кулацкое сопротивление и продиктовал текст закона от 7 августа 1932 года. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». В нем лица, покушавшиеся на общественную собственность, объявлялись врагами народа и подлежали расстрелу, при смягчающих обстоятельствах — заключению в лагерь на 10 лет. Уже 31 августа по этому закону в станице Марьянской было расстреляно 3 человека и к 10-летнему заключению в концлагерях приговорено 5 человек. Только за 5 месяцев до начала 1933 года по этому закону в РСФСР было осуждено 54055 человек, из них 1000 человек расстреляны. Третью часть заключенных составляли колхозники. В народе закон нарекли «законом о пяти колосках», а Каганович назвал его «великим законом», который будет жить десятки лет.

Августовский план хлебозаготовок по краю был выполнен лишь на 32%. Секретарь крайкома Шебоддаев, видя, что план нереален, обратился в ЦК с просьбой уменьшить его, но получил твердый отказ и указание принять все меры к выполнению плана и применять репрессии к тем, кто не выполняет требования плана

С этого момента нажим на колхозы, колхозников и единоличников стал резко усиливаться. Это, естественно, вызвало все большее пассивное сопротивление колхозников и единоличников. К середине октября 1932 года годовая план хлебозаготовок был выполнен лишь на 49,5%.

22 октября 1932 года Политбюро ЦК принимает решение направить на Северный Кавказ комиссию во главе с Кагановичем. Комиссия была беспрецедентной по составу: Микоян — нарком снабжения, Чернов — комитет заготовок, Юркин — нарком совхозов, Гамарник — начальник политуправления РККА, Ягода — ОГПУ, Косарев — Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, Шкирятов — председатель ЦКК ВКП (б).

Понимая, что означает приезд такой высокой комиссии, Шеболдаев решил на личную встречу со Сталиным, надеясь объяснить ему обстановку. Но приезд Шеболдаева Сталин встретил с раздражением. На жалобы его, что в крае не хватает семян для посева, Сталин, по словам Шеболдаева, ответил: « У вас неблагополучно не с семенами, а неблагополучно с политикой. Вы допустили, что в крае в колхозы проникли кулаки и организовали саботаж хлебозаготовок».

«Кулацкий саботаж» — такое определение существа событий, происходивших в крае, да и не только в крае, свидетельствовало о том, что Сталин не желает разобраться в этих событиях и, исходя из своего известного положения об усилении сопротивления классовых врагов по мере продвижения к социализму, решил взять хлеб любой ценой, не считаясь с интересами и положением колхозников. Был обозначен «враг» — кулак, хотя выселение кулацких хозяйств из края завершилось зимой 1931 года.

Руководствуясь указаниями Сталина сломить кулацкий саботаж хлебозаготовок, прибывшая в край комиссия приступила к массовым репрессиям. 4 ноября 1932 года комиссия совместно с бюро крайкома приняла постановление «О ходе хлебозаготовок и сева по райо-

нам Кубани». Оно формально относилось к районам Кубани, как наиболее отстававшим по хлебозаготовкам, но применялось ко всем районам Северо-Кавказского края. Чтобы понять, какое насилие над крестьянами без суда и следствия санкционировало это постановление, приводим его полностью.

«О ходе хлебозаготовок и сева по районам Кубани»

Решение бюро Крайкома совместно с представителями ЦК ВКП (б) от 4 ноября 1932 года.

В виду особо позорного провала плана хлебозаготовок и озимого сева на Кубани поставить перед парторганизациями в районах Кубани боевую задачу — сломить саботаж хлебозаготовок и сева, организованный кулацким контрреволюционным элементом, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимую со званием члена партии пассивность и примиренчество к саботажникам. Обеспечить быстрое нарастание темпов, полное и безусловное выполнение плана сева и хлебозаготовок, тем самым добиваясь сплочения партийных рядов и укрепления колхозов.

Крайком постановляет:

1. За явный срыв планов по севу и хлебозаготовкам занести на черную доску станицы Пово-Рождественскую (Тихорецкого района), Медведовскую (Тимашевского района) и Темиргоевскую (Курганинского района). В отношении станиц, занесенных на черную доску, применить следующее: а) немедленное прекращение подвоза товаров и полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из кооперативных лавок всех наличных товаров; б) полное запрещение колхозной торговли, как для колхозов, колхозников, так и единоличников; в) прекращение всякого вида кредитования и досрочное взыскание кредитов и др. финан-

совых обязательств; г) проверку и очистку органами РКН колхозных, кооперативных и государственных аппаратов от всякого рода чуждых и враждебных элементов. Предупредить жителей станиц, занесенных на черную доску, что в случае продолжения саботажа сева и хлебозаготовок, краевыми организациями будет поставлен перед правительством вопрос об их выселении из пределов края в северные области и заселении этих станиц добросовестными колхозниками, работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях.

2. В качестве последнего предупреждения в отношении наиболее позорно проваливающихся сев и хлебозаготовки районов: Невинномысского, Славянского, Усть-Лабинского, Брюховецкого, Старо-Минского, Кушевского, Павловского, Кропоткинского, Пово-Александровского и Лабинского полностью прекратить завоз товаров в кооперативные и государственные лавки этих районов, а в отношении Ейского, Краснодарского, Кореновского, Курганинского, Отраденского, Каневского, Тихорецкого, Армавирского, Тимашевского и Ново-Покровского не только прекратить завоз, но и вывезти также товары со складов Райпотребсоюза и товарных баз промышленности и кооперации.

Освобождающиеся в результате этих мероприятий товары направить в другие сельские районы края, успешно выполнившие планы сева и выполняющие планы хлебозаготовок.

3. а) в отношении единоличников, отказывающихся от земли и сева, — лишить их также усадебной земли;

б) просить правительство выселить этих единоличников за пределы края, в северные области, передавая их орудия производства и тягло колхозам и переселяя на их место колхозников из малоземельных областей;

в) в отношении злостно не выполняющих план хлебозаготовок применять взыскания по ст. 61.

В отношении единоличников, препятствующих или срывающих проведение декрета об использовании лошадей единоличных крестьян, — применять меры административного и судебного порядка, как за противодействие декрету правительства, подвергая их лишению свободы по ст. 61.

4. В виду того, что декрет об охране общественной собственности проводится в крае крайне неудовлетворительно, при пассивности со стороны партийных организаций и формально-бумажном отношении суда и прокуратуры, в результате чего расхитители колхозного и государственного имущества в большинстве своем остаются безнаказанными:

а) предложить Крайпрокуратуре и Крайсуду в ускоренном порядке рассмотреть все дела по расхищению колхозного и государственного имущества, применив к виновным все меры суровых наказаний, предусмотренных декретом, с тем, чтобы в 5-дневный срок было рассмотрено не менее 20 дел с опубликованием приговоров в печати;

б) обязать прокуратуру и органы КК-РКН в десятидневный срок проверить выполнение приговоров, вынесенных с момента издания декрета об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепления общественной (социалистической) собственности;

в) привлекать к суду, как расхитителей государственного и общественного имущества, также кладовщиков, бухгалтеров, завхозов и весовщиков, скрывающих от учета и составляющих ложные учетные данные, преследующие цель облегчения воровства и расхищений.

5. Крупнейшей ошибкой парторганизаций Крайком считает отсутствие работы с колхозным активом и в особенности формальный подход к его подбору и сплочению.

Крайком обязывает райкомы и сельские парторганизации отобрать в актив действительно лучших колхозников, показавших

себя в борьбе за укрепление колхозов против кулака и его агентуры, отобрать близких партии, умеющих защищать интересы рабоче-крестьянского государства, и вести с ним систематическую работу, политически закаляя их в борьбе с антиобщественными элементами. Крайком обязывает райкомы вернуть широкую политическую работу среди колхозных масс для сплочения их вокруг проведения настоящего постановления и успешного завершения хлебозаготовительного и посевного планов.

6. Обязать райкомы покончить с примиренческим отношением к вопиющим антибольшевистским поступкам части коммунистов, прямым образом сомкнувшихся с кулацкими организаторами контрреволюционного саботажа, ставших рупором классового врага в рядах партии, тем самым ставших на путь измены партии, — и принять решительные меры борьбы с ними, как предателями рабочего класса.

Утвержденная ЦК и ЦКК чистка парторганизаций по краю, начинающаяся в первую очередь со станиц и районов, проявивших себя наиболее позорно по севу и хлебозаготовкам, должна стать в центре партийной работы района, должна очистить партию от всех вышеуказанных элементов и проходить как политическая кампания, мобилизующая организацию на борьбу за выполнение планов сева и хлебозаготовок и организационно-хозяйственное укрепление колхозов.

Крайком предупреждает, что в дальнейшем не допустит снисходительного отношения, разлагающего партдисциплину, в вопросах выполнения планов хлебозаготовок и сева и будет принимать меры, вплоть до исключения из партии руководящих работников».

Уже 6 ноября были опубликованы фамилии двадцати расстрелянных. Это были кладовщики, завхозы, председатели колхозов, объявленные саботажниками. К началу 1933

года были опубликованы имена еще 46 расстрелянных.

В постановлении был один весьма примечательный пункт, в котором предлагалось уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, то есть признавалось, что сопротивление ведут не кулаки, а крестьяне, в том числе и колхозники-коммунисты. Но когда их принимали в партию, они не были пособниками кулаков, ибо таких в партию не принимали. Что же случилось, в чем дело, почему партия коммунистов начинает борьбу с членами своей партии? Был и другой момент в постановлении, который по существу отвечал на этот вопрос. Оно предлагало создать новый актив из преданных партии колхозников, «умеющих защищать интересы рабоче-крестьянского государства» (а не колхозников). А ведь актив у власти уже был. Он сложился при проведении коллективизации и выселении кулаков. И тогда он активно участвовал в этих процессах, в нем были и члены партии. Почему же теперь потребовалось создавать новый актив? Да потому, что старый актив стал защищать интересы не только государства, но и колхозников, то есть свои собственные интересы. И не случайно в решении бюро крайкома от 24 ноября, которым заносились на черную доску новые станицы — Полтавская и Незамаевская, сделано было предупреждение уполномоченным в районах, «переходящим на позиции защиты местных интересов».

Постановление предопределило массовые репрессии. Уже 16 декабря принимается решение крайкома о выселении жителей станицы Полтавской из пределов края, за исключением коммуны им. Фрунзе и лиц, доказавших свою преданность советской власти. Парторганизацию предложено распустить.

Созданные комсоды (комиссии содействия хлебозаготовкам) начали в ноябре — декабре поголовный обход дворов колхозников и единоличников, изымая весь хлеб подчистую, в том числе из колхозных амбаров. Так, у члена

совета станицы Полтавской уже голодавшего Шуляка были обнаружены в яме 2,5 пуда пшеницы, 12 пудов кукурузы, 2 пуда ячменя и 12 пудов картофеля, фасоли и других культур. Если учесть, что в июле 1932 года официально была установлена норма потребления в зерне для колхозников и единоличников в 193 кг, то есть 12 пудов в год на человека и то, что по хлебозаготовкам должны были брать только пшеницу и ячмень, то станет совершенно ясно, что это были за «кулацкие запасы» на семью, которая, уже голодая, прятала их, надеясь выжить.

(Государственный архив Ростовской области, ф. 1390, оп. 6, д. 2785, л.3)

26 декабря на черную доску заносятся новые станицы: Уманская, Урупская, Ладожская, Старо-Деревянковская, Старо-Корсунская, Ново-Деревянковская.

31 декабря райком принимает постановление о выселении жителей станицы Медведовской в северные края и занесении на черную доску станиц Старо-Щербиновской и Платнировской. И к ним стали применяться жесткие репрессии.

Во многих селах и станицах осенью 1932 года начался голод. Они не могли выполнить данный им план хлебозаготовок. Несмотря на это, 7 января 1933 года крайком принимает постановление о том, что в связи с тем, что станица Урупская упорно саботирует хлебозаготовки, «произвести выселение жителей этой станицы на север. Парторганизацию и стансовет — распустить». («Молот», 1933, 8 января). 9 января в газете «Молот» публикуется статья о том, что в станице Уманской раскрыто 223 ямы, в них обнаружено 293 ц зерна (примерно по 130 кг на яму — П. Ч.), исключено из колхозов 799 хозяйств, привлечено к ответственности «за укрытие, воровство и разбазаривание хлеба» 184, осуждено 75 человек. По штрафам изъято 658 голов скота, «но все это дало незначительный эффект. Добровольная сдача хлеба ничтожна». И 12 января 1933 года крайком принимает решение высе-

лить из станицы Уманской 1200 хозяйств единоличников и колхозников наиболее злостно саботирующих хлебозаготовки. Стансовет распустить. Остальных жителей предупредить.

Голод все более усиливался. Вымирали целые семьи. Об этом писали в газетах и официальных сообщениях. Но вот в марте — апреле 1933 года в села и станицы поехали уполномоченные и инструкторы, и в архивах отложились их донесения. Так, Колесников Б. В. сообщал, что в станице Петровской Славянского района вымерла семья красного партизана Алейникова. в станице Успенской вымерла вся семья колхозника Литвинова И. М., имевшего в 1932 году 1184 трудодня. (ГАРО, ф. 1185, оп. 4, 909, лл.13, 224). И таких семей были тысячи. Инструктор Миркин В. сообщал, что в станице Каневской бригадир колхоза «Правда» Намак за кражу 2 кг кормов приговорен к 10 годам лишения свободы, тоже колхозница Лиценко Лукерья из колхоза «Красный партизан». Колхозник Щерба И. К. из колхоза «Страна Советов» за кражу 67 кг муки приговорен к расстрелу. В Усть-Лабинском районе, по данным прокуратуры, только за март — апрель 1933 года за хищение фуража и зернопродуктов привлечено 241 человек.

До какого озверения довели людей, показывает документ совещания делегатов станицы Шкуринской: «Мы приветствуем наших делегатов Зиму Елену и Малую Марию, открывших перед 8 марта яму с шестью пудами ворованного хлеба у вредителя Щербинины Зиновия, допустившего с провокационной целью, чтобы его дети пухли от голода, когда хлеб гноился в яме. Мы требуем применить к Щербине Зиновию высшую меру. За 6 пудов хлеба требуют отобрать у опухших с голода детей отца и убить его. И это требуют женщины из нового актива.

Такими драконовскими мерами план хлебозаготовок по краю был выполнен к 15 января 1933 года. Но колхозам и районам, не выполнившим план, приказано было продолжать его выполнять, а всем районам немедленно

приступить к сбору семян к весеннему севу.

Весной 1933 года катастрофический голод и массовая гибель крестьян стали угрожать срывом посевной кампании, а это грозило режиму.

В конце февраля краю была выделена семенная ссуда в 15300 тыс. пудов. Однако председатель крайисполкома Ларин, выступая на краевом съезде колхозников-ударников 25 февраля, заявил: «Но нам не хватает по колхозам до необходимых по плану зерновых культур 23 миллиона пудов, до полного сбора семян еще 3 миллиона пудов («Молот», 1933, 1 марта).

Сталинское руководство дало указание крайкому оказать продовольственную помощь умиравшей деревне. Через сельские советы стали выдавать помощь колхозникам. Но она оказывалась весьма избирательно. Помощь оказывалась только тем, кто выходил на работу в поле. При полном выполнении задания колхознику выдавалось 600 граммов хлеба. При невыполнении паяк понижался до 300 граммов. Единоличникам при условии их работы на колхозном поле или на своем участке, выдавалось от 300 до 500 граммов. Хозяйствам, заподозренным «как кулацкие», продовольственная помощь не выдавалась. Хлеб за деньги также выдавался активистам, особенно членам комсовдов, отличившимся в борьбе с «кулацким саботажем». Все руководители, до секретарей партаксов и председателей сельсоветов, получали продукты из закрытых распределителей.

Детям, старикам, нетрудоспособным помощь-хлеб не выдавался, и они были обречены на смерть. А 17 марта постановление крайкома предписывало плохо работающим в поле севе колхозников лишать продовольственной помощи и исключать из колхозов как организаторов саботажа. Так было только при рабладельческом строе, когда, как только истощенный ослабевший раб переставал хорошо работать, его прекращали кормить, обрекая на смерть.

Грабили крестьян, забирая весь хлеб дочиства, возвращали же отнятое у колхозников в виде «помощи» мизерными, голодными порциями.

Нажим на крестьян усиливался. Уже 5 марта постановлением крайкома за «отсутствие подготовки к севу, за организацию саботажа» заносится на черную доску станица Хорошевская Цымлянского района и колхозы «Путь пролетария» Тацинского района, «Красный кубанец» Тихорецкого района и «2-я пятилетка» Миллеровского района. Кроме применявшихся ранее репрессий предписывалось отобрать у них отпущенную семенную и фуражную ссуду и прекратить оказание им всякой продовольственной помощи. И, если не будет перелома, (а как его сделать без семенной ссуды?) — П. Ч.), то поставить перед правительством вопрос о высылке жителей колхозов из пределов края. Такая же участь постигла 25 марта 5-ю бригаду колхоза «Индустрия» Тимашевского района, 5-ю бригаду колхоза «1-е Мая» Кореновского района, 4-ю бригаду колхоза им. 2-й Пятилетки Сальского района. 21 марта в постановлении крайкома о трудовой дисциплине на весеннем севе сообщалось, что 2-я бригада колхоза «Путь социализма» станицы Динской полностью отказалась выйти на работу, мотивируя это отсутствием продовольствия. Назывались как организаторы саботажа бригадир Бобок, Орищенко Михаил и Верба Василий, вновь принятые в колхоз единоличники. Сообщалось также, что не вышла на работу 4-я бригада станицы Фастовецкой. Крайком постановил 2-ю бригаду колхоза «Путь социализма» станицы Динской занести на черную доску, лишить семенной и продовольственной ссуды, провести чистку бригады, сохранив из нее в колхозе только добросовестных колхозников. О 4-й бригаде станицы Фастовецкой не говорилось ничего.

Несмотря на все эти меры, уже 5 марта в постановлении крайкома отмечалось, что «полученная семенная и фуражная, а в отдельных случаях, продовольственная помощь не обес-

печила подъем в борьбе за сбор семян и подготовку к севу». Наоборот, говорилось, что кулаки и оппортунисты вновь подняли головы и продолжают кулацкий саботаж в сборе семян и сева. Назывались Миллеровский, Ново-Александровский, Матвеево-Курганский, Курсавский и Ставропольский районы. На черную доску со всеми последствиями заносились очередные жертвы. В села и станицы были посланы уполномоченные руководить распределением семенной и продовольственной ссуды.

Приехав и увидев ужасающую картину, некоторые из них стали сообщать в край правду о положении на местах. В архивах сохранилось несколько таких сообщений. Так, командированная в Краснодарский район Карасева З. И. докладывала, что в колхозе «2-я пятилетка» станицы Ново-Величковской за 20 дней апреля весь фонд помощи иссяк. В станице Андреевской и колхозе «очень много выдавалось из продпомощи для нужд детдомов, детъясель, площадок и так далее (а нужно было выдавать только работающим в поле — П. Ч.), но руководители колхозов и партячек объясняют это исключительно тяжелым состоянием станицы в части смертности (в некоторой степени я воочию убедилась в наличии ряда случаев смертности, на сегодняшний день количество смертности значительно уменьшилось — в день 8 — 10 человек, а было 50 — 60)» (ГАРО, ф. 1185, оп. 4, д. 909, л. 25). Инструктор Полозов докладывал: «Село Барсуки в период хлебозаготовительной кампании выполнило три плана хлебозаготовок, с севом идут лучше, явно получили недостаточную помощь, в ре-

зультате в этом селе имеется 400 смертных случаев» (ГАРО, там же, л. 35). Сазонов 14 апреля 1933 г. докладывал из станицы Троицкой Ново-Александровского района: «По санитарному состоянию для уборки умерших трупов (так в документе — П. Ч.) бригада не организована, умершие не прибираются по нескольку суток.» (ГАРО, там же, л. 176). Убирать трупы было некому, а продпомощь запоздала. Она уже почти не могла помочь истощенным, обессиленным колхозникам. Таково было положение на середину апреля. К лету 1933 года смертность увеличилась.

Известный автор Роберт Конквест в своей книге предполагает, что в эти месяцы 1932 — 1933 годов в Северо-Кавказском крае от голода погибли 1 миллион крестьян и казаков. Но другие считают эту цифру преувеличенной. По более точной методике подсчета Е. А. Осокиной, в крае в это время от голода умерло 416,437 человек.

Поскольку из-за гибели крестьян с подготовкой и проведением весеннего сева дела обстояли плохо, краевое руководство направило из городов на временную работу в села и станицы на разные сроки около 170 тысяч рабочих и других специалистов. С их приездом улучшилось продовольственное снабжение, стали завозиться товары. Двадцать тысяч рабочих трудились специально на весеннем севе, ремонтируя сельскохозяйственный инвентарь.

Крестьяне стали постепенно выходить из трагического положения. С оказанной помощью весенний сев удалось провести, недовыполнив план лишь на три процента. Созревал хороший урожай.



И. И. АЛЕКСЕЕНКО

НАКАЗАНИЕ ГОЛОДОМ

К середине января 1933 года ценою огромных усилий и жертв, неимоверного напряжения физических и моральных сил план хлебозаготовок по Северо-Кавказскому краю был выполнен. Это считалось победой. Но это была пиррова победа, стоившая чрезмерных жертв, неоправданных потерь. Изъятие в колхозах, у колхозников и единоличников всех излишков зерна, в том числе продовольственного и семенного, привело к небывалому голоду, особенно в тех станицах и районах Кубани, которые заносились на «черную доску» и против которых применялись чрезвычайные меры. Оказалось, что у семей колхозников и единоличников не оставалось не только семенного, но и продовольственного зерна для питания, а у многих изымали и другую продукцию: кукурузу, фасоль, горох, выращенные на приусадебных участках. Документы тех лет и свидетельства современников рисуют жуткую картину повального голода и опустошения в сотнях станиц и населенных пунктов Кубани. Вот как описывал в те месяцы обстановку начальник политотдела Ново-Пластуновской машинно-тракторной станции (МТС) Павловского района: «Станицы были как будто вымершие. Тишина. Ни песен, ни смеху. Запустение. Под влиянием чуть ли не ежедневных смертей от истощения сильно было такое настроение: «все подохнем, что говорить о работе, об укреплении колхоза...»

Колхозники осаждали правления колхозов с просьбами выдать «хоть чего-нибудь, что можно было бы есть». И скупой выдавали на 2 — 3 дня то, что имелось: кислую капусту, безрезку и куколь, заменявшие хлеб. Значительная часть колхозников от длительного недоедания и питания суррогатом была пухлая. 1300 человек по району деятельности МТС в

эти предвесенние месяцы и первые весенние — март-апрель — вымерли. Причем большей частью взрослые мужчины и старики. Женщины оказались выносливее. Сильно развито было воровство продуктов питания. Воровали в колхозах, воровали друг у друга, у соседей — капусту, картошку, коров, птицу и даже лошадей. Воровство создало такое настроение, что ни один колхозник, имевший хоть что-либо из продуктов, не хотел уходить никуда из дому. Явка на собрания была чрезвычайно низка.

Так же примерно выглядят эти события в воспоминаниях людей, бывших свидетелями голода и испытавших его на себе. Ф. Г. Проценко из станицы Бесскорбной, что недалеко от Армавира, в своем письме-воспоминании отмечает, что земля заросла сорняком трехметровой высоты. Не было ни кошек, ни собак, не летали даже птицы. Люди падали прямо на улице и умирали, кто еще был в силах, пытались хоронить умерших, ямы кое-как выкапывали в два-три штыка, кое-как спихивали тело, и зачастую прикрыть землей сил уже не было. Весной 1933 года в пищу у людей шло все: кошки, собаки, всевозможные растения, а главный продукт был сурепка... Особенно тяжело было в марте-апреле 1933 года. Кругом запустение, антисанитария. Людей оставалось мало, и очень слабые, пухлые, но в землю кое-что садили: тыкву, фасоль и др. Делалось это так, чтобы никто не видел. В общей сложности, — пишет ф. г. Проценко, — в нашей станице умерли 60 процентов людей, и были случаи людоедства. В его рассказе указаны и грубейшие методы действия тех, кто выявлял продукты у крестьян и казаков.

Можно без конца приводить факты голода со смертельным исходом. Об этом уже немало

написано, и здесь, видимо, не стоит повторяться, появились публикации на эту тему.

Голод остро поставил проблему детей. Надо отметить, что в той трагической обстановке эту проблему решить не удалось, хотя кое-какие меры и принимались. В станице Васюринской «умирали некоторые целыми семьями, без гробов, завернув в рядно». Г. В. Хижняя, жительница этой станицы (ей тогда было 7 лет), описывая события, вспоминает такой эпизод: «Я сижу на печке больная, глаза почти ничего не видят. Приходят активисты с длинными пиками и начинают прокалывать стены, в надежде найти там зерно. Ничего не найдя, они бросились к люльке младшего братишки, подняли его и взяли из-под подушки маленький узелок кукурузы (мать его спрятала). Забрали тот узелок, братишка через несколько дней умер».

Нельзя не привести свидетельство учительницы Л. К. Крушенской.

«В то время я, молодая сельская учительница, все это переживала... Входишь в класс и видишь бледные, отекавшие от голода лица ребят с безучастным взглядом, а у самой кружится голова от недоедания... Выдавали нам, учителям, паек — 7 кг дерти (которой сдабривают полову лошадам). О выпечке хлеба речи быть не могло, а лепешку испечешь, а устюки вылезут из нее, и получается она, как щетка... Пойдешь к родителям учеников, которые не явились в школу, а они лежат обессиленные от голода. Были случаи людоедства. И людоеды выжили...»

Есть у этой проблемы еще одна сторона, связанная с падением численности населения, в том числе и детского. Смерть родителей оставляла детей без кормильца. Переживший эту трагедию Л. В. Белов из поселка Яблоновского, пишет: «Дети бродили, как бездомные собаки по улицам, базарам и вокзалам в поисках пищи. Обессиленные от голода, они падали под заборами. Милиция ездила на подводах, подбирала полуживые тела и отправляла в детприемник г. Краснодара. Назывался он «тысячник». Там должны были их отпаивать и откар-

мливать хотя бы до состояния самостоятельного двигаться, потом из них формировались группы и отправлялись по детдомам. «... Ежедневно привозили сотни полуживых трупов. Их обрабатывали, помещали в изоляторы, но в группу выздоравливающих попадали единицы. Остальные умирали. Каждую ночь на подводы грузили трупы и вывозили на городское кладбище в общую яму».

... «Было страшно смотреть на эти изможденные скелеты, они с трудом подавали слабые голоса, но было поздно уже их кормить. Несчастные дети умирали один за другим»

Детская смертность, как и молодых и взрослых мужчин отражалась на обороноспособности страны. Умирали дети, особенно мальчики, которым через семь-восемь лет, с началом Великой отечественной войны, надлежало встать в строй защитников Родины. Не подлежит сомнению, что потери людей от голода не могли не сказаться на общем состоянии страны, подрывали ее потенциал. Речь идет не о сотнях и тысячах погибших от голода, а о гораздо большем числе человеческих жизней. Точных данных пока об этом нет. О масштабах разразившейся катастрофы можно судить по косвенным фактам. Из 75 районов Северо-Кавказского края голод охватил 44 района. В феврале 1933 года бюро крайкома было вынуждено признать «факты прямого голодания в отдельных станицах». Стремясь преуменьшить размах трагедии и всю вину за случившееся еще раз возложить на кулаков, бюро крайкома отнесло 20 районов края к неблагополучным, а 13 — к особо неблагополучным. Обстановка во всех этих районах была трагичной. И совсем не случайно бедствия выпали на долю районов Кубани и Дона, населенных казаками. Некоторые авторы проводят связь между 1919 годом и 1932/33 годом, считая, что голод 1933 года на юге России был продолжением политики массового уничтожения казачества, что миссия Кагановича на Кубани в 1933 году продолжала выполнение директивы от 29 января 1919 года, подписанной секретарем

Оргбюро ЦК РКП (б) Свердловым о рассказывании.

Несмотря на все старания Сталина скрыть следы своих преступлений, правда о репрессиях и голоде рано или поздно становилась известной. Она передавалась из уст в уста очевидцами и жертвами голода, хотя в печати о голоде не говорилось ни слова. Даже на XVII съезде, открывшемся через год после начала массового голода, докладчики и делегаты говорили преимущественно об успехах. Руководители Центрального Комитета правящей партии, на словах много говорившие о критике и самокритике в рядах партии, на деле избегали упоминания о собственных ошибках в политике коллективизации и хлебозаготовок. В докладе Сталина делался упор на общие фразы об исчезновении противоположности между городом и деревней, нищеты в деревне. Интересно вспомнить слова Сталина, сказанные им на январском объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в 1933 году: «Конечно, мы еще не добились того, чтобы полностью обеспечить материальные запросы рабочих и крестьян. И едва ли мы добьемся этого в ближайшие годы. Но мы несомненно добились того, что материальное положение рабочих и крестьян улучшается у нас из года в год. В этом могут сомневаться разве только заклятые враги Советской власти...» Эти слова были произнесены именно в тот момент, когда миллионы крестьян зерновых районов умирали от голода: Сталин и его окружение пытались обелить себя, предстать перед народом эдакими благодетелями. Лицемерие было первой натурой Сталина. Разумеется, после такого заявления вождя вряд ли кто из исследователей решался попасть в разряд «заклятых врагов». С тех пор и более 50 лет этой запретной темы не касались. В отличие от нашего закрытого в те годы общества с его «железным занавесом» правда о голоде стала известной за рубежом уже весной 1933 года.

В конгрессе США в мае 1934 года ставился вопрос о нарушении прав человека в СССР по

поводу голода. Была опубликована специальная резолюция. А в Советском Союзе преследовались те, кто говорил о голоде. Сталин не допускал, чтобы говорили о голоде. Однако, по известной пословице, шила в мешке не утаишь. Пока точных сведений о количестве погибших от голода не имеется, однако разрозненные сведения по отдельным станицам, которыми располагает автор настоящей статьи, дают основание для вывода о том, что в станицах «особо неблагоприятных районов» число умерших от голода колеблется от 40 до 60 процентов, а в отдельных местах и более, до 90 процентов. На основе косвенных данных Р. Конквест, английский историк, вывел цифру до одного миллиона человек, погибших от голода на Северном Кавказе, из них около 80 процентов смертей приходится на районы Северного Кавказа, население которых говорило на украинском языке, на котором до переписи 1939 года говорили казаки.

Таким образом, не засуха и недород стали причиной голода в районах Кубани, а сталинская политика принудительных хлебозаготовок, которая превратилась в настоящую войну с крестьянством и казачеством.

После того, как из амбаров колхозов и закромов крестьян были выкачаны последние остатки зерна и было объявлено выполнение плана по краю к 15 января 1933 года, остро встал вопрос о семенах, заготовка которых была не менее сложной и производилась теми же репрессивными мерами. Под давлением обстоятельств Сталин вынужден был согласиться на предоставление семенной ссуды колхозам. Согласился не из уважения к крестьянству и казачеству, которых он считал источником мелкобуржуазной стихии и реставрации капитализма, а из боязни провала собственной политики, опасности сорвать весенний сев 1933 года. Семенная ссуда была выдана. Северо-Кавказскому краю отпустили 15 миллионов пудов. Это немногим более десятой части зерна, вывезенного отсюда по хлебозаготовкам. Недостающую часть семян

собирали в колхозах у колхозников и единоличников с применением тех же чрезвычайных мер, что и при хлебозаготовках. Кризисное состояние колхозов, огромные трудности зимы и весны 1933 года вынуждали применять и усиливать экстренные меры по подготовке и проведению весеннего сева. Понадобилось специальное постановление ЦК партии и Совнаркома «О мероприятиях по организации весеннего сева на «Северном Кавказе». Создан чрезвычайный орган по руководству посевной кампанией — посевком во главе с Б. И. Шеболаевым. Еще раньше, в соответствии с постановлением январского объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) стали создаваться неуставные чрезвычайные органы — политотделы МТС и совхозов. Как чрезвычайные органы, они были неотъемлемой частью административно-командной системы. У работников политотделов преобладало преувеличенное представление о засоренности колхозов и сельских организаций враждебными элементами. Это представление формировалось Сталиным, Кагановичем и другими из их окружения, всей партийной пропагандой и агитацией того времени. К примеру, в одном из центральных и ка-

зачьих районов Кубани — Усть-Лабинском из общего числа коммунистов 1500 человек и разряду враждебных элементов по инициативе политотделов было отнесено 800 человек, которые были исключены из партии и многие пострадали от репрессий. В ЦК партии был создан отдел во главе с Кагановичем, твердость и крутой нрав которого должны были, по замыслу Сталина, гарантировать успех весенней кампании. Фактически политотделами руководил отдел ЦК. В составе политотдела МТС и совхоза был работник ОГПУ, выполнявший карательные функции в отношении тех, кто пытался не подчиниться жестким мерам и оказывал сопротивление. Политотделы отправляли в тюрьмы и лагеря многих ни в чем не повинных казаков-колхозников и единоличников, коммунистов и беспартийных. Но политотделы добились перелома в организации труда, в борьбе с обезличкой и уравниловкой, наладили учет и контроль, помогли становлению колхозных кадров, организованнее и быстрее, чем в 1932 году провести полевые работы, собрать урожай, что вселяло надежды на лучшее будущее.



.

А. П. ТУРУКАЛО

ЗАПИСКИ «КУЛАКА»

Шестого февраля 1930 года я возвращался вечером с работы со своим кумом и напарником. Работали мы с ним плотниками в «Плавстрое». То есть на той стороне реки Кубань, где расположены адыгейские аулы. Строили мы в зимнее время бараки для заключенных, а их было очень много, арестованных кулаков. Николай Ерофеевич Яглов, был мой кум и старший по специальности, он был в то время хорошим плотником-столяром, а я только учился от него. Вечером мы подошли к реке, где всегда переезжали на подке. Река готовилась к замерзанию. Переезд был очень трудным и опасным для жизни, но мне не хотелось возвращаться в барак. Меня тянуло домой, потому что ходили слухи об арестах и высылке кулаков, подкупачников и так называемых подпевал, то есть каждого, кто хоть чем-нибудь не понравился активистам.

Моя жена Луша с двухнедельной дочуркой Катей была в семье моих родителей. Она настаивала переехать к ее родственникам на квартиру до весны, пока мы окончим строительство домика на новых планах, за речкой Карасун. Чтобы не попасть под арест и высылку, я соглашался пожить до весны у ее тети на квартире.

Пришел я домой, жены и дочери не было. Луша еще днем сама переехала к тете. Я сразу почувствовал в сердце что-то недоброе. Родители еще не ложились спать. Мать подала мне ужин и посоветовала остаться до утра, так как ночь была темная и холодная. Не успел я и поужинать, как постучали к нам в дверь, и собаки залаяли. Отец спросил: «Кто там?». Отозвался сосед по фамилии Волошин Никифор, живший напротив нашего двора, через улицу. Объяснил отцу: «Гавриил Лукьянович, это я, сосед ваш, но со мной сотрудники ОГПУ. Надо открыть».



Отец открыл дверь. Вошли четверо. Один из них имел вид интеллигентного человека, был выше всех ростом. Одеты все в штатское. Трое из них с винтовками. Этот приятный на вид мужчина предъявил ордер на арест и на обыск. Обыск производили тщательно, в присутствии соседа. Семью собрали в кучу и один охранял.

После окончания обыска отцу было предложено собраться, но со словами «не надолго», чтоб продуктов и одежды много не брал. Поднялся плач. Родители плакали и прощались, и мы все плакали. А нас было еще трое, кроме

меня: Нина, сестра, на два года меньше меня, брат Даниил, с 1913 года рождения, и сестренка Уля дошкольного возраста.

В этот момент вошли к нам еще два комсомольца с винтовками, местные, из активистов. Им было поручено держать меня под арестом до утра. Утром мне было разрешено идти к жене, и я ушел. Побыл у жены, все ей рассказал и пошел в станичный совет узнать, что будет с нашей семьей. Народ был подавлен и в панике. Этой ночью многих забрали и предупредили, чтоб готовились семьи арестованных к высылке.

В станичном совете было шумно. Было много военных, как видно, кадровых сотрудников ОГПУ, все в белых полушубках, лица красные, упитанные, каждому не более 35 лет. Некоторые были с револьверами и саблями. Везде стояли часовые с винтовками и примкнутыми штыками. Цокотели печатные машинки, была заметная напряженность и суета. Я вошел в одну из комнат и спросил, к кому можно обратиться по поводу моих родителей. Но вместо ответа подскочил ко мне один из военных, боком, по-петушиному, в белом полушубке, плотный, с красной, упитанной рожей. Выхватил саблю и властным голосом приказал освободить помещение. Вплотную приблизился ко мне, в упор уставился на меня. Я сразу вышел в коридор и тут же услышал, как он диктовал машинистке, а та печатала мою фамилию, имя и отчество. В этот момент подошли два человека с винтовками и предложили мне следовать за ними. Отвели меня домой к родителям, и больше из-под охраны я уже не выходил. Даже в уборную ходили за мною следом. Потом предложили готовиться к высылке. Я взялся за дело. Собрал муку в мешки и по четыре мешка связал наперекрест веревками. Порезал всех кур и все, что можно употребить в пищу: сало, крупы, лук — я тщательно упаковывал. К вечеру второго или третьего дня все было у меня готово. Приехала моя жена Луша с дочкой, приготовилась со мной уезжать... Куда? — Неизвестно.



Активисты старались все из двора вывезти. Запрягли наших лошадей, привязали к подводу двухлетнюю племенную телку красно-рябой масти, ибо у родителей коровы не было. Хозяйство отца осенью, 14 сентября, сгорело. Осталась одна хата. Отец побирался, ездил по станице и хуторам и просил на «погорелое». Люди давали: кто корзину половы для лошадей, кто миску муки, кто чего. Станичный совет выделил строительного леса для постройки нового сарая.

И вот начали постройку... И еще не обмазали, как сгоревший человек стал кулаком за то, что питался сам и семья его с пожертвованного и тем, что было спасено от огня. А 200 пудов пшеницы, наложенной активом сельсовета, не выполнил. Так называемую «разверстку». И на этот счет не принимались во внимание властями никакие доводы и объяснения — ни письменные, ни устные. Наоборот, когда отец на собрании стал объяснять уполномоченному, что он после пожара питается с семьей с поданного добрыми людьми, его уполномоченный лишил права голоса и потребовал уйти из собрания.

В ночь (не помню, какого числа) 9 или 10 февраля 1930 года активисты станицы запрягли лошадей, погрузили наши вещи и всех нас и вывезли за станицу, в степь. Сопровождали нас вооруженные до зубов военные в

белых полушубках. Кавалеристы с саблями наголо окружили и нашу семью. Когда мы выехали за станицу, там было уже много подвод с людьми, а военные носились по всей степи, окружив нас цепью в несколько линий.

Ночь была пасмурная и холодная. По команде тронулись на Краснодар степными глухими дорогами, сопровождаемые конной военщиной. К рассвету мы были на Черноморской станции (Краснодар-2). Там стояли товарные «телячьи» вагоны с решетками в люках и железными печками. Нас быстро погрузили, набив не менее сорока человек в каждый вагон. Багаж грузили в задние вагоны, отдельно от нас. Когда кончилась погрузка (а она очень быстро прошла), я попросился сходить в уборную на станции. Один из часовых пошел за мной. Метров пятьдесят я отошел, как откуда-то взялся мне навстречу другой военный, вооруженный винтовкой со штыком. Направив на меня штык, он бросился ко мне. Я в испуге остановился. А сопровождавший меня часовой в свою очередь подпер меня штыком сзади. Так и стояли несколько минут. Я не понимал, что случилось, что я нарушил, что им от меня надо, а они в бешенстве скрежетали зубами, смотрели на меня и ничего не говорили. Но потом я увидел колонну мужчин, под строгим конвоем двигавшуюся к нашим вагонам. Мои «телохранители» опомнились, и один из них дал команду: «Налево кругом», — то есть, вернуться к вагону. Я подошел к своему вагону и увидел здесь отца. Он тоже увидел меня, всю нашу семью, и горько заплакал.

Часов в 9 утра поезд тронулся. Нас закрыли на замок, приставили вооруженный конвой, и поехали мы не знаю куда. Все плакали. При выезде из станицы я увидел тещу и в люк помахал ей рукой. Она увидела и упала в обморок, но я это скрыл от ее дочери и моей жены Луши, которая кормила как раз грудью дочь.

Я в то время был еще очень молод и мало соображал: куда везут и что будет с нами. Но между нами были люди опытные, пожилые, которые говорили, что везут нас на Северный

Урал. На четырнадцатый день нас привезли ночью на станцию Сама. Это был тупик, дальше железной дороги не было. Станция эта находится за городом Надеждинск, в ста километрах в глубь Севера.

Во время пути раз в сутки давали нам в ночное время кипятка, хлеб и приварок: пшенный суп-баланду с соленой воблой и кислой капустой. С наступлением утра начали перепись людей по вагонам приступившие к нам какие-то начальники, распределяли по группам. Потом подъехал транспорт: сани с упряжкой, по одной лошади в дугу, и стали выгружать людей и багаж и развозить по поселкам. Но так как всех не могли сразу погрузить на этот слабый транспорт, то нас разместили в бараке, который находился тут же, на станции Сама, прилегающей к руднику, ибо тут же, рядом, находился и рудник железной руды, которую добывали открытым способом. Работали на этом руднике одни заключенные. Руду добывали вручную и возили ее тачками на специальную платформу, а с платформы грузили в вагоны и отправляли в Надеждинск, прямо на заводы.

Барак был большого размера, вместительный, с трех или даже четырехъярусными нарами. Насыщен клопами до отказа, одна громадная печь с глухой огромной чугунной плитой наверху. Вот в этот барак и сгрузили почти весь состав. Люди заполнили все четыре яруса нар: теснота, шум, плач детей, разговор, сутолока, гул, как в улье. Кроме того, много курящих, и, к сожалению, нашлись самолюбивые, делали то, что им нравится, а другой — хоть умри, нет им дела до того. Затопили печь. Каждый лез, каждому надо было что-то сварить или согреть кипятку, кому-то искупать грудного ребенка после 14-дневного путешествия в неимоверной тесноте и угольной копоти телячьего вагона. Но вот пришла первая ночь в это барак, на дворе холодно, ведь это Север, не менее 25-ти градусов, а в бараке теснота, духота, копоть и табачный дым. На верхних нарах стало невыносимо и детям, и взрослым, а вниз пробиться, пройти даже невозмож-

но было. Мы с отцом и 16-летним братом Даниилом не курящие, и всем нам было невыносимо вверх. Вышли на улицу и там в сердцах проклинали самолюбивых курильщиков.

На следующее утро стали опять развозить по поселкам. Так в первый набор попала и наша семья, состоящая из семи человек. Отец, мать, брат и сестренка-первоклассница Уля, и мы с женой и дочкой, которой был месяц от рождения. И вот нас повезли дальше в глубь леса от тупика этой северной дороги. Все взрослые шли за санями и ездовые, конечно, тоже, это были их собственные лошади. И северные люди говорили для нас, кубанцев, казалось, почти на непонятном языке, и сильно матерились. Я сделал одному молодому парню замечание, что тут мой отец и мать, нельзя материться, стыдно мне, но он даже не сразу понял, о чем идет речь, так как и у него отец тут же был, и у них это не считалось стыдом, а матерщина у них в обыденном разговоре употребляется всеми членами семьи. Привезли нас в селение Денежкино, километрах в пяти или шести от станции Сама. Село очень красивое, небольшое. Новые 2-этажные дома, рубленые, с красивой отделкой, крытые тесом или железом.

Попали мы с Лушей к одним очень хорошим людям на квартиру. По фамилии Андриановы. Он, Андрианов, бухгалтер по образованию, занимал должность завскладом. Ее звали Мария Максимовна. Оба средних лет: ей лет 40, ему лет 45. Оба гостеприимные, культурные, образованные и очень религиозные люди, православного вероисповедания. Семья у них состояла из трех человек: он, она и грудная девочка. Мария Максимовна быстро подружилась с моей женой Лушей. Дом у них просторный (конечно, собственный), гостеприимно нас приняли и уютно приютили на втором этаже в светлой солнечной комнате. Я сделал дочери, по предложению хозяйки дома, «зыбку», как по их местному наречию называли устроенную к потолку березовую небольшую ложу (жердь), и к концу ящик — люльку с об-

шитым холстом дном. Туда укладывали дочку и качали ее столько, сколько ей надо было, пока не уснет. В этом селе была еще небольшая, очень красивая деревянная, рубленая церковь.

Мария Максимовна рассказала, что когда им какие-то представители власти на общем собрании сообщили, что к ним в село привезут людей, которые не верят в Бога, ненавидят верующих и церковь, могут осквернить, ограбить, а потому, мол, лучше вы сами всю церковную утварь разберите по домам. И они, жители села Денежкино, в порядке предосторожности, это сделали. Растащили все с церкви, обобрали ее догола. И только тогда поняли, что их жестоко обманули. Узнали они от нас, что мы тоже православные христиане. Но ложь сыграла свою роковую роль. Церковь немедленно была приспособлена теми же лжецами в общежитие для командированных лесовывозчиков с лошадьми. Церковь заняли люди, а кругом церкви подделали из хвойных ветвей конюшни и поставили в них сотни лошадей. В результате лошадиный навоз к весне имел не менее чем метровую толщину вперемешку с человеческим калом, так как люди не потрудились сделать для себя отхожего места. Внутри церковь закоптили, подолбили полы, так как на них кололи дрова и топили печки-буржуйки с выведенными железными трубами. Так Сатана сделал свое дело руками православных, за которых распялся Христос. Не распознав лжи, сделали противное Богу. А как говорится, трудно сделать один шаг, а потом полное преступление и полное осквернение святыни. Так оказались обманутыми жители села Денежкино. Некоторые из них шли на этот шаг сознательно, я имею в виду активистов, ибо эта «чума» отравила сердца во всех уголках страны.

Пробыли мы на квартирах в человеческих условиях недолго, а за эту неделю нас всех переписали, и всех мужчин направили в лес, километров за 12 или 15 от села Денежкино, в горы, строить поселок для постоянного

жительства. Двинулись все туда пешком, с топорами, пилами, колунами и продуктами. Конечно, домашними, продуктов нам не давали на протяжении целого года и никакой платы, хотя у некоторых не было ни денег, ни запасов продуктов. Такие еще в пути следования жили и питались тем, кто что даст. Вот мы пришли в лес к вечеру с грузом, утомились. С нами был комендант по фамилии Черепанов. Мужчина из местных жителей, выше среднего роста, чернявый, с нависшим лбом. Глаза маленькие и черные глубоко сидели подо лбом, очень суровый и неразговорчивый, лет около 50 и, как видно, сотрудник ОГПУ. Его заместитель, Симашко, небольшого роста, узенький в плечах, белоголовый, глаза серые, злобные, нос острый, с горбинкой, очень придирчивый и ругательный матерщинник. При тридцатиградусном морозе, по пояс в рыхлом снегу, начали искать, как и на чем отдохнуть, ибо было объявлено, что возвращаться в село не будем, пока не построим дома для семейств, а потом, когда семьи сюда переедут, будем делать заготовку леса. Лес был густой, чистый и ровный, как свечи, и исключительно — сосна. Сразу люди развыжились среди леса, гор, в снегу по пояс, упали духом, почувствовали, чем это пахнет. Развели костры, свалили несколько десятков сосен. Так ночевали на них первую ночь человек около двухсот. Конечно, это те, которые были расквартированы в селе Денежкино, что стало с теми, которые были увезены в другие места, я не знаю. На следующий день начали валить лес, по размеру распиливать, соскабливать кору и класть первых два сруба, конечно, под руководством Черепанова, так как среди нас и были плотники, но рубленых домов не приходилось делать. За день свалили много леса и к вечеру срубили два первых дома. Стены метра на два высотой, откапывали мох под снегом и на мху клали бревна. Вечером я попросил Черепанова разрешить мне сходить в село Денежкино, навеститься к семье. Он разрешил, и я быстро побежал. На полпути я встретил целый транспорт: везли в

лес наши семьи и пожитки. Я ужаснулся! Что делать? Мороз не менее 30 градусов, а здесь грудные дети и дети дошкольного возраста. Среди обоза оказалась и наша семья. Ехала моя Луша с месячной от роду дочуркой Катей. Я плакал, плакала и Луша, но слезы наши под скрип саней в глуши Севера не слышны были дальше наших скорбящих сердец. Привезли. Ночь. Холод. Снег. Северная зима. Свалили в кучу наши узлы, вещи и уехали. Старики, старики, дети, жены, подростки и дети очутились выброшенными за борт самого демократического, первого в мире социалистического государства, за которое пролили кровь многие тысячи наших отцов и братьев.

Назвали их «кулаками» или «подкулачниками», или подпевалами, прилепив ярлык ни в чем не повинным крестьянам-хлеборобам. Ведь какой кулак мой отец? Ходил по найму у болгар по Закубанью, на табачных плантациях работал до женитьбы. И там же нашел себе невесту, которая была из многодетной семьи крестьянина, казака Остапенко Кирилла Харитоновича (у него было восемь душ детей: три сына и пять дочерей) И все разошлись из дому, кто по найму, а кто в монастырь. А у отца мать была вдова, имела пять душ детей. Отец, как старший из всей семьи, пошел батрачить, так они поженились и начали наживать свое «гнездо» с мозоля. Никогда не имели ни батраков, никаких производственных мощностей. Имели пару лошадей, корову, собственный дом размером 6 на 8 метров из трех комнат, крытый черным железом; дом-столбняк без фундамента, сарай, в котором помещались лошади, корова и годичный запас хлеба и корма для животных. План — соток 15, входивший в надел казачьего пая, который на время прихода Советской власти состоял из четырех с половиной десятин (десятина составляла примерно гектар земли). Но при Советской власти произошел передел земли, давали ее на едока, в семье отца было всего 7 едоков.

Но возвратимся в лес, к своим семьям. Север, ночь, холод, дети, женщины, старики и

старухи среди леса на снегу и морозе — кто поверит? Скажут, агитатор, враг Советской власти, враг народа... А за агитацию — расстрел по тому времени, да и теперь несдобровать, попадись эта рукопись в КГБ. А ведь это святая истина. Надо, чтобы она была записана даже в школьных учебниках, чтоб новое поколение знало, на какой почве стоит существующий строй, кого ликвидировали, кого выслали и как их там уничтожали в последующие годы. Чем кончилась эта трагедия несчастных страдальцев, жертв тирании, на чью долю выпал этот горький удел. Вот ночью все мужчины нарезали накатника, покрыли эти два сруба, натаскали мокрого из-под снега мху, проемы окон и дверей завесили ряднами, поставили по одной железной печке, вывели трубы в отверстия окон и затопили. В первую очередь в срубы поместили женщин с малышами и грудными детьми. А все остальные взрослые и не вместившиеся ночевали возле костров. Но человек смиряется с любыми обстоятельствами. Многие говорили и надеялись, что разберутся и возвратят нас на родину. Это, мол, высшие власти не знают, что вредители на низах да помещичьи сынки, пробрались во власть и мстят народу. Не теряли в ссылке надежды на свою родную Советскую власть. Но, увы. Отрезвление началось с того, что власти расклеили везде листовки, которые обрушивались изысканной клеветой на несчастные жертвы. Эти листовки давали право местным жителям задерживать, арестовывать и даже сажать в свои подвалы (а у них подвалы большие под каждым домом, как они их называют «колбис»). Вот в этот «колбис» каждый местный житель имел право посадить спецпереселенца или отправить в комендатуру, или использовать на работе в лесу: заставлять пилить лес или заготавливать дрова, а работу писать себе, ибо местному населению и всем вольным хорошо платили в то время. Давали отоваривание белой мукой, сахаром и другими ценными продуктами питания и мануфактурой. Так что ходить свободно нам, высланным, было

риском для жизни, «сразу прибирали к рукам». Пойти что продать из вещей или купить молока для детей стало роскошью. Но не все местные и вольные командированные так обращались с нами. Многие сочувствовали и делились чем могли, но были и злобные и опасные, которые и ловили и сажали, били и использовали на своих личных работах в лесу. Так одно время пропала у нас без вести наша покойница мать, искать было невозможно. На это права там у нас не было. Надо работать и работать и еще раз работать. А получать нечего. Целый год никакой платы, никаких продуктов, пока люди все свое не поели и начали пухнуть с голода. А когда изморили людей, в одну ночь приехали (кто — неизвестно) и большую часть мужчин взяли и почти все не вернулись. Вернулись только считанные единицы месяца через два и то пар со рта не выпускали, что и где с ними было. Но вот я часов в шесть утра вышел из конторы участка на станции Сама, услышал голос матери и увидел душ тридцать людей. Гнал их верхом на лошади один из жителей в лес на работу с ружьем наперевес. Мать увидела меня и стала кричать, чтоб я пошел к начальнику участка, чтобы он ее освободил из плена. Я побежал и стал умолять начальника по фамилии Розжигаев, он принял мою просьбу, вышел и дал распоряжение освободить нашу матушку. Мать со слезами благодарила начальника и меня обцеловала.

Продолжалось строительство новых срубов. Дома покрывались накатником, а сверху мох. Одеяла, рядна, половики, простыни вместо окон и дверей, печки железные подвозил транспорт. Люди торопились как-то спастись от холода, укрыть свои семьи. Потом начали пилить доски ручными пилами. Стали из этих досок делать двери, настилать полы. А первые полы были сделаны с накатника, как и потолки: лишь бы скорей укрыться от холода грудным детям. К весне стояло два ряда домов с дощатыми потолками, крытые досками или щепой. Привезли кирпича и начали делать на улице простые русские печи для выпечки хле-

ба. Мука была в мешках привезена из дому, но испечь хлеба негде было. Пекли пресные пышки да сухари и питались, у кого еще тянулись они. А когда начали люди пухнуть с голода и были не в состоянии работать, тогда стали выписывать ржаную муку: 13 грамм на выработанный кубометр дров, и еще давали кислую капусту и соленую рыбу-воблу, тоже в граммах на кубометр, сахар-песок в граммах на кубометр. Денег не платили ни копейки, а выписывали такое количество бонов, чтобы хватило оплатить в кладовой продукты. Так производилось начисление и расчет за труд. Но горе заставляло рисковать жизнью. И мы ночью ходили к местным жителям, предлагали им свои вещи за муку, за сахар, молоко. Так, за кринку молока променивали шерстяное, новое, хорошее женское платье или туфли — лишь бы остаться живыми. Моя жена Луша разменяла все свое приданное за продукты питания, спасая от голода наши жизни. А многие тысячи людей погибли с детьми от голода и побоев. Первую зиму и лето прожили. Хотя и тяжело, но пока еще не применяли к нам физическую силу, то есть, пока еще не били. Даже отпраздновали Страстную пятницу и Пасху по-христиански. Хотя священника не было у нас, но был один из псаломщиков церковных, были у него и книги церковные, богослужбные. Пели «Христос Воскресе и смертью смерть поправ...» и как кто смог отметили этот праздник. Построили столько домов, что все люди уместились по четыре семьи в дом. В каждом углу — одна семья. Дом не перегораживался, одно большое окно, общие нары на две стороны и в каждом углу семья, одна общая железная печка посередине и один общий стол у окна. От нар до нар, то обе стороны — по одной большой лавочке для сидения во время еды.

Но положение быстро изменялось, с каждым днем зажимали все строже. Рассылались выше по лесоучасткам новые директивы и циркуляры, в которых требовалось все строже эксплуатировать эксплуататоров — спецпе-

реселенцев (так нас стали там называть). И всем тем, кто был с хорошим образованием или счетно-бухгалтерский работник и проник куда-либо в лесоучасток по специальности, предписывалось немедленно снять с этой должности и отправить в лес на физическую работу. Претензии о состоянии здоровья не принимались, медицинского обслуживания для нас не существовало. Детей школьного возраста гнали в лес, давали в руки скобелки окоривать бревна, которые взрослые заготавливали. Лес был разный. На экспорт, авиалес и резали на дрова, метровые полена. Резали вручную поперечными пилами. Началась полная изнурительная эксплуатация. Если бы помещики, у которых были крепостные люди, встали из гроба, то и они ужаснулись бы зверствам, какие к нам применялись на втором году нашей жизни на Севере. Первой безвинной жертвой в нашем доме стал Романюк Трофим, человек лет 30-ти, имевший жену Настю и четверых детей: самому старшему мальчику было лет семь. С ними были высланы и их родители-старика, обоим лет по семьдесят и брат старика — Романюк Иван, его жена Олимпиада, оба тихие, смирные, лет под пятьдесят. Имели они трех дочерей, одна дошкольного возраста, а две — школьного, от 9 до 14 лет. Девочки были очень красивые, похожи на свою маму. И вот их мама опухла с голода первая, к тому же родила еще девочку. Но ребенок настолько был слаб, что даже звука не мог сделать и часа через три скончался. Трофим и Анастасия работали в лесу по заготовке леса на пару. Вначале норма на них была три кубометра. Навалить леса, обрубить сучья, попилить на метровку, поколоть и сложить в штабель. Норма эта вполне достаточна по той ручной технике для двух здоровых мужчин при хорошем питании. Но на нас смотрели не так. Если сегодня сделал три кубометра, завтра — четыре, сделал четыре, завтра — пять, сделал пять — после завтра шесть и гнали норму до семнадцати кубометров. Люди ослабели от голода, изнурения и переутомления. Стали еще убивать в лесу.

Однажды вечером, помню, прибежала Настя с криком: «Трофима убили!» Принесли Трофима мертвого, сделали гроб, с плачем похоронили. А на шестой день умерла Настя. Бесперывно плакала, не ела, не пила, легла и умерла. Похоронили Настю. Остались старики с сиротами внуками. Но стариков гнали в лес. Старуха скоблила кору, а старик наравне с мужчинами работал в лесу. Таких сирот набралось от убитых родителей сначала один дом. Его освободили, сделали детдомом. Потом еще один заполнили, и на вторую зиму было два полных дома детей сирот дошкольного возраста. Кормили их той же похлебкой из ржаной муки, кислой капустой, соленой воблой. И вот эти несчастные сироты, потерявшие своих родителей от рук палачей: стрелков-охранников и так называемых десятников и комендантов, поболели все кровавым поносом. Полуголые выбегали при тридцатиградусном морозе босиком и кругом этих бараков на снегу опраивались. Симашко, зам. коменданта нашего спецпоселения, добивал их своими сапожниками с криком: «Кулаки!» Топтал и поддавал им под ребра. Как футбол добивал этих несчастных. У меня сердце содрогается от воспоминания этих ужасов. Хочется закричать на весь мир, чтобы люди не верили коммунистической лжи.

И вот заболела наша дочурка Катя: понос и рвота. Ей уже было 11 месяцев, начинала ходить и разговаривать. Приходилось выпрашивать пропуск у коменданта Черепанова и разрешение к врачу аж на станцию Сама, где был на руднике единственный фельдшер на всю территорию. И вот моей жене Луше приходилось носить ребенка на руках около 25 километров в один конец да обратно столько же по лесу, по горам, так как мне нельзя было ей помочь, заставляли работать. А транспортом мы, как высланные и лишенные гражданских прав не имели права пользоваться. Не имели права на всякое к нам уважение со стороны коменданта или стрелка, или десятника. Когда жена попала на прием к фельдшеру, то убе-

дилась, что больше ходить к нему нет смысла. Он высланных не считал за людей. Был жесток, злобен и никакой помощи не оказывал. А взять направление куда-нибудь к врачам не разрешалось. Итак, наша дочь на двенадцатом месяце жизни умерла. Я в то время был в командировке. Нас всех, мужчин и бездетных женщин и подростков, разогнали из поселка. Много попало на сплав леса, а кто — на строительство новых поселков, кто — на валку леса вблизи станции Сама, так как требовались дрова для заводов города Надеждинска. Я насилу выпросился у начальства навеститься к семье. Дали пропуск, и я пошел, а без пропуска любой из жителей задержит и попадешь на его личные работы, пока не уморит или убьет. Пришел я к жене, дочь умирает, но никак не может скончаться. Выболела, стали одни косточки и кожа, и все звала «папа» и ручкой мотала. Я пришел, она обрадовалась, перестала плакать, я взял ее на руки, носил по комнате, вынес на улицу. Казалось, ей полегчало и как бы она успокоилась. А к вечеру того же дня обняла меня своими ручонками за шею, несколько раз поцеловала и испустила дух, и ручки ее упали с плечей моих, и головка свисла. Дочь скончалась. Когда положили ее на стол, одели, стали готовить к погребению, то у нее изо рта и носа вылезли глисты, значит, она умерла от глистов. А мы в этих бесчеловечных условиях даже не могли определить диагноз ее болезни. С большими слезами и горем мы похоронили дочь. И я забрал с собой жену Лушу в командировку. В командировке я в это время находился на станции Сама, валили лес, заготавливали шпалу. Норма уже дошла до 17 кубов на двух человек, но так как ее никто не выполнял, то ежедневно людей вечером охрана и десятники не пускали из леса, и кто шел, не слушая их, тех били палками наподобие держака для вил или лопаты. Но люди хоть в полночь, но добирались в тот злополучный барак, в который нас сгрудили сразу по приезде с родины год назад. Ведь надо же человеку сварить что-то покушать или отдохнуть. Над-

смотрщики охраняли нас в лесу и иногда группой человек пять-шесть шли в барак, брали с собой удобные палки, специально для этого у них заготовленные, заскакивали в дверь и с гиком, матом набрасывались на людей. Били в две руки изо всей силы, невзирая на то, кто попал под руку: женщина, девушка или подросток. Люди с криком бросались в дверь все сразу, получалась пробка, а эти — рады стараться. Молотили, пока не уморятся. Такие погромы были очень частыми. Руководил ими некто по фамилии Ратушняк, мужчина лет сорока или немного больше, выше среднего роста, плечистый, крепкого телосложения, смуглый, краснощекий, я бы сказал, из числа красивых мужчин, полный рот золотых зубов. По должности прикомандированный от рабочих из какого-то металлургического завода, как двадцатипятилетний, которых тогда партия командировала на выполнение производственных планов. И вот этот, так сказать, посланник партии «с честью» выполнял ее задание. От таких погромов, от недоедания, без нормального отдыха, люди, и особенно женщины, стали ненормальными, как полоумные. Не узнавали своих детей, ходили с распушенными волосами...

Потом тактику переменили. В лесу держали только до вечера, а вечером гнали на станцию грузить дрова в поезда, на всю ночь. Люди падали от изнеможения, а их били сытые десятники и охранники. И люди ежедневно умирали, как мухи. Из этих же страдальцев-мучеников была сформирована бригада плотников, грободелателей. Гробы беспрерывно делались и беспрерывно кого-то забивали в гроб и тут же отвозили в лес на поляну, ставили поверх земли в ряд: гроб к гробу. А снег присыпал, так как там, на Севере, почти все время сыплется мелкий снежок. Но нашу семью почему-то не трогали. Мы всегда, когда убийцы запетали в барак, брали топоры, колуны, пилы, харчи и ждали, пока пробьют дорогу в дверях, и уходили в лес. Нас почему-то не трогали. Но отец был умный человек. За 14 лет службы побы-

вал на трех войнах и «Чеку» прошел, но такого, говорит, не видел. Говорит мне: «Сынок, нас оставляют напоследок. Нашу семью будут бить последней. Не теряйся, хватай колун и бей, сколько успеем за себя убить, убьем».

Однажды мы с Лушей попросили разрешения и пропуск сходить нам на тот поселок, где мы были впервые выброшены зимой на снег. Там были наши домашние вещи и одежда. Начальник Розжигаетов нам разрешил, и мы пошли втроем: я, моя жена Луша и брат мой Даниил. Пришли на поселок, там почти никого не осталось. Из трех семей Романюковых, которые жили в нашем доме, осталась одна старуха да двое из четырех ее внуков, а двое умерли от поноса и побоев Симашко. Родителей поубивали в лесу за невыполнение нормы, а детей дошкольного возраста собрали в два барака и там доморили их, полуголодных и больных. Некоторые из них, которые были постарше, когда лишились родителей, ушли из поселка лесом, по над железной дорогой, с целью убежать от этих убийц. Так две девочки Романюковых, я слышал, дошли до города Надеждинска и якобы остались в живых, нашли добрых людей, которые их приютили. Возможно, что кто-то из них когда-то преодолет страх и отзовется на весь мир в подтверждение мною написанного.

И вот мы переночевали в полупустом доме вымершего поселка. Сходили на могилку нашей дочурки, попрощались с могилкой, ибо чувствовали, что больше ее не увидим. Взяли свои вещи сколько могли унести, а остальное осталось неизвестно кому, и ушли на свое место работы и страдания. Через несколько дней в лесу, на работе, рядом с родителями, мы с Лушей валили лес и начали распиловку. Неожиданно на нас начала падать сосна огромной величины. Луша бросилась бежать, а я был между бревнами, и мне бежать было уже поздно. Я упал, рассчитывая спастись в ямке между бревен от смертельного исхода, но не успел убрать ногу, и мне ударило по колену. Родители и брат подбежали, и жена с воплем,

стали меня искать, считая убитым. Но я был жив, слышал их, но не мог выбраться из-под снега и сосны. Потом они перерезали сосну, отвернули ее и стали меня отгребать от снега. Подняли меня и радовались, что я остался жив. Но я не мог стать на ногу, нога распухла и почернела в колене. Я работать не мог. Отец вырубил мне две вилки в виде костылей, и я поскакал к фельдшеру, километров за шесть, на рудник. К вечеру я попал к нему на прием. Посмотрев ногу, он мне написал бумажку со словом: «Симулянт!» Но я надеялся на то, что начальство увидит мою опухшую и почерневшую от удара ногу и не придаст значения справке. Но начальство моего объяснения не стало слушать и смотреть на ногу, а сразу в шею затолкали меня в изолятор, где было полно таких же «симулянтов». Боль усиливалась. Меня знобило, я дрожал, и хотелось пить. Но воды и пищи в изоляторе, как я слышал раньше, не дают. И с изолятора редко кто возвращался. Все там умирали от голода, сквозняка и побоев. Было много охотников из начальников, у которых руки чесались попрактиковать свое «искусство» кулачного боя над беззащитными жертвами, несчастными мучениками и мученицами, а их сажали вместе мужчин и женщин, девушек и парней. Так в полночь приволокли и втолкнули ко мне мою Лушу. Она под грудями пронесла мне хлеба — листочками нарезала, кусочки мяса с оленьих хвостиков. И так каждую ночь ко мне вталкивали в шею мою жену Лушу, и она проносила под одеждой увязанные тряпочкой харчи. Дней через шесть меня вытолкнули с изолятора, и я ускакал на костылях в лес, на свое место работы, и мы с Лушей опять стали продолжать свою работу.

Настала весна, брата отправили в командировку на сплав леса, и он оттуда не вернулся. Сумел с лесосплава добраться до какой-то станции и без денег, без продуктов ушел в побег. Под паровозами, под вагонами, на осях, сумел бежать на Кубань. Но родину он увидел не такой, с какой нас увозили, а разрушенной искусственным голодом.

Люди умирали с голода, улицы станицы заросли бурьянами, заборы сожгли в печах. Народ был злой, неприветливый, большинство людей были чужие, также привезенные с другой стороны в наши пустые хаты. Так что приютиться было негде и опасно: могли задержать и этапом отправить в любом направлении, ибо таких выплавливали, собирали в тюрьмы и морили голодом, потом высылали на Север. Нужны были документы, а их негде было взять. В Совет зайти нельзя — арестуют. Родственники боялись во двор пустить, чтоб не увидел кто из соседей и не заявил, а такая заявка обозначала арест и высылку всех родственников.

И вот брат рассказывал: приютила его наша сестра Тарасенко Анна, перестирапа одежду, покормила. А он взял ручку и пером нарисовал штамп и печать станичного совета и сам написал себе справку, только не на свою фамилию, а на двоюродного брата по материнской фамилии, то есть, Остапенко Григория Федоровича, так как их семья числилась в бедняках. А нам как высланным уже нельзя было свою фамилию обнаруживать. С этой справкой он добрался до «Плавстроя» в хутор Тиховский Славянского района и там поступил на работу в экспедицию Московского института по изучению рисосеяния на Северном Кавказе. Так именовалась та организация в то время. Кормили хорошо и платили зарплату сравнительно неплохо. Жили в степи, в казачьих степных «куреньях», так назывались у нас в казачестве Кубани степные постройки на земельных участках единоличного сектора. Земля была наделной, считалась государственной собственностью. На Кубани собственной земли никто не имел и не имел права ее иметь даже при царском режиме.

Но вернемся опять на Север. И вот после побега брата мы с Лушей задумали бежать. По моей просьбе, мать Луши, а моя теща Чепурко Васса пошла в «Плавстрой», где я до ареста и высылки работал плотником, и взяла в конторе организации мое удостоверение личности.

Таков был тогда порядок: удостоверение личности сдавалось в организацию, где работал, как теперь сдается трудовая книжка, и теща переслала нам его в багажной посылке до станции «Надеждинск», чтобы мне получить его на руки, так как посылки почтой при выдаче проверялись охраной ОГПУ, охранявшей и убивавшей нас.

Когда я получил извещение от железной дороги, я пошел к коменданту ОГПУ на станции Сама, попросил у него разрешение съездить в Надеждинск за получением багажной посылки. Он разрешил и дал пропуск, так как наша семья была известна всем как передовая по выполнению заготовок леса. И я уехал.

Получив посылку, на обратном пути в поезде я заметил, как за мной наблюдает один мужчина в штатском, лет тридцати пяти, но видно, что он был не из местных. Потом он сел на нижней полке и дал мне знак пальцем, чтобы я поближе к нему подошел. Он спросил меня, откуда и куда я еду и где живу. Я все ему сказал правильно и заметил у него под штатским пальто на воротнике петлицы ОГПУ. Он достал бумаги из нагрудного кармана, развернул и стал по списку, напечатанному на копировочной бумаге, читать фамилии всех тех, кто нас держал в своей власти на станции Сама. О каждом из наших начальников расспрашивал: где живет, кем работает и как обращается с высланными, убивал ли кого? Я сначала боялся говорить правду, но потом подумал и стал рассказывать о каждом, кого я знал из убийц: где, когда, кого и как убивали. Человек за сорок или пятьдесят он меня расспросил тихонько в углу купе, а ехали мы ночью. В полночь я приехал в свой барак и рассказал все отцу и всей семье. Отец сначала испугался за меня, но скоро разнесся слух об арестах всех местных убийц. Стали их жены голосить во всех дворах. Люди, перепуганные и недобитые, которые остались в живых, сами себе не верили, что случилось: начальства нет, никто не бьет, никто не гонит на работу. Потом стали назначать руководителями производства из высланных.

Почти все руководство перешло в руки высланных, сами собой стали командовать и продолжать работу на строительстве поселков и заготлеса. Мы с отцом перешли на строительство поселка в квартале № 56. А Луша с мамой и сестренка Уля продолжали оставаться в бараке.

Шестого августа 1932 года, с пропуском от коменданта Новикова, ночью поездом мы уехали с женой в город Надеждинск. Родителям оставили мешок муки, остатки своих вещей; с целью, если нас задержат и, стало быть, избыют, измучают по изоляторам, то чтобы мука была нам поддержкой при возвращении назад, а если уедем, то все останется в пользу родителей.

На рассвете 7 августа мы прибыли в город Надеждинск. Это хороший небольшой городок на Северном Урале. Стоит он на возвышенности так, что с центра города все кругом видно. Но нам рассматривать и ходить было нельзя, чтобы не схватили агенты ОГПУ. Опять-таки, чтобы не было подозрения, билеты мы взяли до станции «Пермь». Итак, мы в пути на родину. Как тронулся поезд, сразу же появились лица в вагоне, которые начали проверять не только билеты, но и документы. Началась суeta, плач женщин и детей, высадка насильственным путем с применением физической силы. Сердце дрожало у меня при виде этого кошмара. Но нас с Лушей никто не беспокоил. Я решил перебороть страх и при появлении агентов в вагоне, как только начинают проверять документы, подхожу и смело смотрю с ними, переглядывая через их плечи: кто и что им предъявляет. Так мы доехали до Перми. А в Перми с трудом взяли билеты до Вятки и уехали. В Вятку приехали и не могли выехать трое суток. Отдали носильщику 1750 рублей, но даже и он не смог достать билетов в течение двух суток и возвратил нам деньги. Выехать было невозможно, много было народу. Билетов никуда не продавали. Потом кто-то посоветовал нам сходить в город и якобы



Станица Пашковская. В среднем ряду третий слева атаман станицы А. М. Лысенко, умер в Бразилии; крайний справа в черкессе царского конвоя Е. К. Литвиненко, выслан в Сибирь в коллективизацию.

в городской станции можно достать билеты. Луша пошла с группой людей, а я остался с вещами. Часа через два она пришла, с радостью показывая мне два билета. Потом стал формироваться сборный поезд, и мы с билетами сели в него до Москвы. Поезд шел медленно, но мы были рады, что хоть тронулись с этого «ада», переполненного людьми, где дышать было нечем. По прибытии в Москву нам тоже пришлось просидеть около двух суток.

Наконец билеты закомпостировали. Времени до отъезда было еще много, и Луша решила с группой молодых женщин походить по Москве, может, чего купить из питания и посмотреть Мавзолей Ленина. Я не возражал против того, чтобы купить еды, но смотреть Мавзолей категорически возражал и просил ее лучше не ходить никуда, чем смотреть его. Она убедила меня, что смотреть не будет, дала мне в этом слово и ушла. Часа три ее не было, а придя рассказала, что посмотрела мавзолей. Я был сильно огорчен ее поступком. И вот выехали мы из Москвы. Подсели в наше купе трое молодых мужчин нашего возраста, очень все симпатичные, красиво одетые, в светло-серых костюмах и все трое друг на друга похожие. Луша была одета тоже нарядно, в шелку вся и шелковый кремовый платок, что очень ей шел к ее русым, волнистым волосам и карим глазам, она была очень статная фигурой и лицом красива. И вот эти три «героя» стали буквально с нахальством наседать на нее. Я видел, что ей это нравится. Она заливалась смехом и веселым румянцем на лице, забыла все пережитое нами и то, откуда мы едем, и еще, что ждет нас впереди. Я терзался душой, невольно наблюдая комедию своей жены. Если бы кто мне сказал раньше, что она позволит такое, я бы не поверил. Но это был факт. И на вопрос к ней одного из этих трех: «Кто это? Муж?» Она ответила, что нет, это десятник, с которым мы работали на одном производстве. Я терзался и душой и сердцем. И хотелось мне прилепить ей хорошую пощечину, но я знал, чем это кончится. Они меня избыют, а она предаст. От-

ведут меня в ОГПУ, проверят документы, и я больше света не увижу. А ее освободят за одну ее красоту и предательство. Так вдохновилась моя Луша у Мавзолея главного губителя душ и рода человеческого, получила там зарядку на все дни ее до смерти. Я скрепил себя и решил терпеть до конца. Так терпением победил врага, замышлявшего коварство: предать меня в руки своих исполнителей воли его.

В Краснодар мы приехали ночью. Сдали чемоданы в камеру хранения и пошли пешком в Пашковскую. Перешли дамбу, которая как бы была границей между городом и станицей. Я сошел на ровное место с трамвайных путей и возблагодарил Бога за то, что он сохранил нам жизнь, укрыл нас в пути от злых людей и дал мне еще возможность стать моими грешными стопами на мою любимую родину. Заплакал и поцеловал три раза землю. После этого мы пошли к свояченице Елене, которая была замужем за нашим станичником по фамилии Ремесник Стефан. Его дома не было: куда-то уехал в поисках работы. Нас встретила сестра Луши Елена без всякого восторга и радости, с каким-то подавленным чувством, так как их родители, то есть мои тесть и теща были уже выслааны на Урал, в Челябинскую область. Ничего, кроме маленькой двухкомнатной хаты да белой старенькой лошади, на которой теща ездила торговать глиной (крейдой) и известью для побелки домов, они не имели. Земли тоже не брали, хотя и были казачьего сословия. Когда стали делить при советской власти землю на едока, он, Чепурко, отказался от земли. А жили тем, что мать торговала, а он сапожничал, шил на дому по заказу хорошие сапоги, туфли женские, вообще был мастер сапожного дела. И вот таких подмела метла. Елена предложила нам немедленно убраться в Краснодар к их родственникам или близким друзьям их родителей по фамилии Яронтовские, бывшим частным торговцам, имевшим когда-то собственный магазин. И особенно Елена боялась за меня, чтоб кто-нибудь не увидел, чтоб их за меня не выслали, тут только я почувствовал

Ст. Пашковская
Церковь Введения Во Храм Пр.
Богородицы.



по-настоящему, в каком мы находимся положении. Не имея никакой вины или преступления, сделались опасными для всех родственников. Опять ночью мы ушли в Краснодар. Пришли к Яронтовским. Лушу они приняли как свою, а меня как чужого, и не хотели, чтоб я ночевал у них. И стали Луше советовать, не стесняясь меня, бросить меня и уехать к родным, а то, мол, он неопытный, молодой, не имеет специальности и образования, к тому же бежавший из ссылки, пусть идет, куда хочет, разойдитесь, так будет лучше. Так ей советовали, и я видел, что эта атмосфера на нее влияла. Я ждал чего-то непоправимого. Потом мы с Лу-

шей сходили к ее крестному отцу, жившему в то время в Краснодаре в собственном домике с семьей, работавшем на кирпичном заводе замдиректором (по фамилии Пивень Иван, отчество не помню). Человек умный и самостоятельный, он посоветовал нам обоим временно поработать у него на заводе, пока достанем более подходящие документы. Так мы и сделали. Поступили с Лушей на работу. Она кирпичи перекладывала на транспортер или с транспортера в штабеля, а я подавал глину в глиномялку с вагонеток. Квартуру мы наняли частную на кожзаводах у одной одинокой молодой женщины. Но так как у нас не было ни кровати, ни стола, кроме 2-х чемоданов с одеждой, то мы в комнате на кирпичных подмостках положили доски, постелили, что дали родственники: простыню и одну подушку на двоих. Готовили пищу на мангале, то есть, со старого ведра печка ставилась на дворе, накладывался в ней уголь или кизяк, все это зажигалось, и очень быстро и хорошо готовить. Я ходил за город, собирал кизяк и вообще, что попадалось, что могло гореть. Луше было стыдно собирать кизяк, и я замечал, как на нее влияют советы Яронтовских. Я читал ее мысли и говорил: «Луша, вот тебя уговаривают меня бросить, и ты это сделаешь, но ты после будешь горько сожалеть об этом». Она говорила, что этого не сделает, и плакала у меня на груди, уверяя, что она верная мне жена и никогда никого не послушает, чтобы бросить меня.

Но вот проработали мы месяц полуголодные, потому что давали хлеб по карточкам: 600 граммов на рабочего, один раз приварок в заводской столовой — тарелочка борща и ложка каши. Купить где-нибудь что-нибудь — нет ничего и все невыносимо дорого. Мы оказались еще в худших условиях, чем были на Севере. Я посмотрел эту свободу и волю и понял, что разница в том, что здесь не бьют, но голод тут хуже.

ДНЕВНИКИ ИВАНА ЛАЗАРЕВИЧА ПОЛЕЖАЕВА*

(30-е годы, станица Уманская)

17.2.1933г.

Наконец добрался до места своей работы, о которой давно мечтал, хотя и не в таком масштабе. Расстояние от станции ж.д. около 4 км.

Здесь говорят, что казачья старшина в момент проведения линии ж.д. Сосыка — Ейск воспротивилась проведению «бисовой чугунки» вблизи центра станицы, «щоб худобу не пугала».

Но не в том соль. Меня подвез к зданию техникума пожарник Павлюк на лошадах, очевидно, немногих, сохранившихся теперь в станице. Я взял свой маленький баул и направился в здание. Около калитки споткнулся. Земля покрыта снегом на четверть метра. Присмотревшись внимательно, увидел человека в снегу. Придя в здание техникума, увидел там двух коллег, которым и сообщил о замерзшем человеке. Было 6 часов утра. Сказал, чтобы сторожиха сходила и протопила печку. Хотел позвонить в милицию, а человека, лежащего у калитки внести в здание, чтобы, возможно, спасти. Но коллеги-учителя сказали мне буквально следующее: «Это бесполезно делать. Вы



споткнулись о труп мертвого человека, погибшего от голодной смерти». К большому несчастью, их здесь много. Идет большая коллективизация, сопровождаемая тем, что называется теперь «саботаж казачества и его пособников».

* Родился в 1903 году. Отец был путевым рабочим. Вся семья жила в жел. дор. казарме на берегу Кубани близ мостов, в 2 — 3 км от ст. Невинномысской. Учился в Невинномысском 2-х кл. жел. дор. училище, которое окончил в 1918 году. Потом учился в Невинномысском выше-начальном училище. Работать начал с 13 — 14 лет. В 1929 году поступил в Кубанский пединститут. Окончил его в 1932 году. После окончания института работал директором Краснодарского художественного техникума. В 1933 г. направлен директором Уманского (теперь ст. Ленинградская) педтехникума. В армии не служил ввиду слабого зрения. Во время эвакуации в 1942 году сопровождал партархив, попал в окружение, сжег архив, но сам был арестован в Невинномыске немецкой полевой жандармерией, потом отпущен и прожил на хуторе В. Янкуль до прихода частей Красной Армии. До августа месяца 1944 года работал на прежней должности. Осенью 1944 года был арестован органами госбезопасности и осужден по ст. 58 п. 1а на 10 лет по обвинению в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Отбывал наказание в Закавказье (Карабах) и Воркуте.

В июле 1960 г. Военный трибунал Северо-Кавказского военного округа отменил приговор военного трибунала войск НКВД Ставропольского края от 14. 06. 1945 г. в отношении Полежаева Ивана Лазаревича, и он был реабилитирован.

Умер И. А. Полежаев 22 мая 1987 года.

Населения в станице осталось мало. Часть выселена из пределов станицы за сопротивление коллективизации, часть разбежалась, а часть, как вот эта, умерла...

18.2

Знакомился я с техникумом и 3 — 4 преподавателями. Их столько и осталось. Занятия фактически не велись. Учащиеся почти все отсыпались из-за голода. В 3-м выпускном классе — 11 человек. Всего насчитали по техникуму около 50 человек. Что делать дальше? Как вести этот разбитый, потрепанный педагогический корабль и вообще как выходить из создавшегося положения?

19.2

Принял (официально) по акту все имущество, учебные пособия техникума от теперь уже бывшего директора Покотило. Мне неловко было перед ним. На вопрос, что же он будет делать дальше, Покотило сказал, что судьба его уже решена (наверное) и ему предстоит командировка в места отдаленные, т. е. на север. Почему, за что... было непонятно.

20.2

Был вызван в НКВД, где мне предложили собрать все украинские учебники, литературу и передать все туда.

Понемногу все проясняется. До революции в этом здании находилась Уманская гимназия, после — школа 2-й ступени и средняя школа. В конце 20-х гг. — Уманский украинский агропедтехникум. Моя миссия — ликвидировать украинизацию техникума и ее последствия. Дело нелегкое и не очень приятное.

21.2

На станцию ж. д. прибыл эшелон из БВО с переселенцами, которые «должны возместить убыль в населении в результате черных лет коллективизации, саботажа, репрессий, голода и переселений». Это мне сказал старый учитель, в числе 3 — 4-х оставшихся в техникуме.

Немного скривил душой и, отдавая украинские учебники и литературу, оставил себе «Кобзарь» Т. Г. Шевченко. Сказать только, что я люблю его, будет очень мало. Этот замечательный человек (художник, поэт и просветитель) в сердце моем навсегда. Это дань любви к украинскому народу и моим украинским друзьям в прошлом.

22.2

Занимался библиотечными делами и распределением учебников на русском языке, полученных из крайono. Учебники есть, но учащихся нет, так же, как и учителей. Впрочем, уже приходили двое ребят — Леончиков и Баденков (из числа переселенцев). Они интересовались, можно ли и на каких условиях поступить учиться в техникум. Уходя, они оставили свои заявления о приеме в техникум на 1933 — 34 учебный год.

23.2

Был на приеме у начальника политотдела станицы. Здесь в станице (пока) сложная обстановка, и советская власть представлена Ревкомом, а не стансоветом, как обычно в мирных условиях. Политотдел — орган, совмещающий функции партийно-политического, организационного и вообще контрольного характера. Начальник политотдела Лапшин оказался замечательным человеком. Он позначил меня с обстановкой в станице, дал некоторые советы и указания. В это время пришла его жена Мария Агеевна Лапшина — учительница начальной школы. Оба они весьма внимательно и, как показалось, сочувственно отнеслись к моему приезду в станицу, как бы несколько жалея меня, что я попал в такую обстановку, к тому же опасную. Выходить ночью из здания техникума (где я занял одну комнату из 2-х бывших квартир начальницы гимназии когда-то) мне не рекомендовали.

Во второй половине дня беседовал с завхозом техникума Передерий Я. Ф. Он расторопный, энергичный человек, бывалый член

партии. Он достал где-то 2 тонны каменного угля. Решил топить хотя бы через день, чтобы каким-то образом окончить учебный год. Учащихся теперь около ста человек. Приехали два учителя по назначению из крайоно. Занимаемся в одну смену, но тяжело, учащиеся истощены до крайних пределов. В 3 выпускном классе 11 человек. Постараемся дотянуть их до конца учебного года и подготовить к выпуску. Наш техникум готовит учителей начальной школы в зону Кубани: Кушевка, Староминская, Екатериновка, Крыловка (станции). Есть, кажется, еще техникумы в Ейске, Полтавской, Краснодаре. Потребность в учителях начальной школы велика. И наша задача заключается главным образом в подготовке к следующему учебному году. Теперь уже нет только учителя физики, естествознания (с химией). Остальные на местах, но кто из них удержится здесь дальше (т. е. после окончания учебн. года), трудно сказать.

26.2

В коридоре второго этажа техникума было собрание партактива с одним главным вопросом — «Посев яровых культур». Примерно в это время на Кубани всегда бывает потепление — так наз. «февральские окна», пользуясь которыми земледельцы проводят сев ранних яровых культур. Задача в эту весну самая ответственная. Успешное решение ее спасет нас от голода. После собрания осталось столько грязи в коридоре, что одной техслужащей на два дня уборки. В здании техникума проходило совещание сельхозактива из числа переселенцев по вопросам сверххранного сева, в февральские окна, которые на Кубани — обычное явление).

В станице голод. Мне поручили провести собрание колхозников в к-зе им. Зубрицкого. Явился человек 15 худых, изможденных женщин. Лица, словно с икон. Согласны со всем и все делать. Но и «трэба хочь трохи хлиба, йисты ничого». Думаю, а как же дети? Да, коллективизация дается дорогой ценой. Новый путь

жизни должен вытеснить все старые привычки, формы хозяйства, весь уклад жизни, выработанный веками. А как это сделать в течение года или нескольких лет, когда все прикипело к человеку в течение многих веков и находится у него в крови?

27.2

Ночью меня разбудили удары колокола в местной церкви и тревожные гудки паровозов на станции. Быстро оделся и прибежал в политотдел. Сказали, что горит МТС, неизвестно кем подожженная. Оплешность или вредительство? Мне дано было указание находиться в техникуме. К утру пожар потушили. По мнению многих, он — реакция на коллективизацию и дело рук недовольных, обиженных и голодных людей.

Было около 4-х ч. утра. Войдя в здание техникума, в коридоре услышал какой-то шум. Прислушался. Где-то на 2-м этаже сильный шорох, как будто что-то переворачивают... Кажется, бумагу, или какие-то вещи?.. В левом кармане пальто у меня электрический фонарик, в правом — пистолет. Беру соответственно то и другое в руки, зажигаю фонарь и со взведенным курком в правой руке — стрелой на 2-й этаж. Выскочил, осветил весь коридор и увидел страшную картину: вся сцена и вся такая же площадь пола впереди усеяна кишачными крысами, которые терзают и грызут газеты, книги, дерево — все, что попало. Под лучами фонарика они мгновенно разбежались в свои норы и щели. Почему во время голода бывают нашествия грызунов? Во время засухи — саранчи? Какие животные инстинкты здесь играют роль, или, может быть, законы природы?

28.2

Состояние здоровья учащихся техникума плохое, угрожающее, дальше некуда. Был в поликлинике, просил врача прийти ознакомиться с их положением. Учителя и я сам кое-как перебиваемся.

Получаем хлебный паек — 600 г, питаемся в столовой. Завхоз порекомендовал мне брать молоко у одного инвалида, живущего около рынка. Ежедневно утром беру 300 г хлеба, захожу к нему и съедаю их, запивая 1 л молока. Кажется, многовато, но зато целый день обеспечен. Учительская братия также перебивается кое-как. Занятия, хотя и с половиною всего состава учащихся, но идут все же.

2.3

Приходила врач из амбулатории, сделала медосмотр учащихся. Заключение убийственное. Просим документальное подтверждение. Написала короткую справку: «Медосмотром установлена крайняя степень истощения учащихся, директору педтехникума необходимо принять меры для улучшения питания, в противном случае многим из них угрожает смерть». (Врач — подпись, печать амбулатории).

Знаю это сам, болею этим и все время бьюсь над решением этой проблемы. Ужасные дела. И вопрос даже не в ответственности, а в терзаниях сердца. Ведь живые люди, молодежь... Наше будущее.

3.3

Был с этой справкой в политотделе, а потом у председателя станичного ревкома. Станица Уманская черноморская, находится на особом положении. В большой натопленной комнате с высоким потолком и двумя большими окнами в углу стоит внушительных размеров письменный стол, покрытый теперь уже изношенным зеленым сукном. Очевидно, за этим столом 17 лет тому назад восседал станичный атаман. Но теперь за этим столом сидел Иван Иванович Бобырев — человек с другого полюса земли, и, как говорят, командовавший в гражданскую войну казачьей кавалерийской бригадой. Был он человеком выше среднего роста, крепким, сбитым, по виду похожим на Тараса Бульбу, с такой же бритой головой, только без оселедца. Гово-

рит на местном украинском языке, вернее, жаргоне.

«Що у вас? — спросил он у меня. Я изложил ему суть дела и показал справку врача о медосмотре учащихся. Он задумался, долго чесал затылок, ерзал в своем кресле, а потом решительно взял ручку и написал маленькую бумажку: «В элеватор. Отпустите полтонны кукурузы в кочанах для учащихся педтехникума. Бобырев». Взял печать, поплевал на нее и ударил (шлепнул) по бумажке так, что стол задрожал. Потом встал с этой бумажкой, подошел к деревянному телефону, висевшему на стене, позвонил на элеватор, что-то сказал туда и вручил мне справку.

Невзирая на страшную грязь, я буквально бежал с этой справкой в техникум. Но день клонился к вечеру, и ничего существенного дальше сделать не удалось. Обычно хозяйственные вопросы поручаются завхозу, но это чрезвычайное дело я взял сам на себя.

Читать, кроме газет и литературы к урокам, времени буквально нет.

4.3

Сегодня вызвал к себе завхоза и поручил ему срочно привезти кукурузу с элеватора на мельницу для переработки.

Сегодня же получил вызов в Ростов на сов.-инструктаж по вопросам работы техникума. Добраться к вокзалу за 4 км по непролазной грязи — проблема. Для этой цели у меня есть хорошие сапоги — на всякий случай, если Павлюк (пожарник) не сможет отвезти.

Великолепный народ — эти белорусские переселенцы, здоровый, веселый, энергичный, преимущественно молодого и среднего возраста. Для станицы это действительно равносильно спасению больного, которому введена свежая полноценная кровь. Их поселили на одной территории, и колхоз, в котором они уже работают, называли им. БВО. Станица ожила. Стало полегче с хлебом и оставшемся здесь коренному населению. Преимущественно это женщины.

7.3

Возвратился из командировки в крайоно. Во время пересадки в ст. Минской, когда я ужинал в буфете, пользуясь своими скудными припасами, приобретенными еще в Ростове, против меня сидел человек и все время смотрел, как я ем. Когда собрался подниматься, человек спросил, можно ли ему взять остатки пищи на столе, в том числе и крошки хлеба. Получив разрешение, он с жадностью все съел. Потом предложил купить у него бритву за 5 руб., сказав, что он едет домой из мест заключения и никак не может добраться до своей станицы. Отдал ему 5 руб., взял бритву, посмотрел. Это была знаменитая фирма «Близнецы». Отдал ему еще оставшийся у меня кусок хлеба. Человек голодный, и такая бритва стоит большего.

В техникуме все на месте.

Завхоз привез с мельницы кукурузную муку и ждал распоряжения, что делать с нею.

Занятия в классах идут, хотя и без энтузиазма.

8.3

Сегодня был праздничный день для учащихся: из кукурузной муки техничка начала варить «мамалыгу» для поддержания сил (подкормки) ослабевших учащихся, в первую очередь для всех 11 человек — выпускников 3-го курса. Кухней была комната технички (она же и столовой).

11.3

В крайоно мне дано указание, и сегодня получено официальное распоряжение о создании при техникуме своего подсобного хозяйства в сельскохозяйственном направлении. Конечная цель его — обеспечить учащихся всеми продуктами питания. Для этой цели нам отвели участок земли около 5 дес. на юго-восточной окраине станицы. Здесь же находится и хозяйственная пристройка, старая заброшенная хата, вероятно, покинутая хозяевами в период сплошной коллективизации.

Питание студентов становится проблемой №1.

Обсудили с завхозом вопрос о хозяйстве, о том, как обрабатывать землю. Понятно, что одним ручным трудом этого не сделаешь. Рядом с техникумом находится сельскохозяйственная профтехшкола, в ней есть кое-какая техника, есть трактор. Завхоз намекнул, что если «угостить» директора, то «дело сразу пойдет». Но я никогда не занимался хозяйственными делами, тем более с использованием земли и, конечно, никогда не использовал вина в достижении каких бы то ни было целей.

13.3

Кто-то из учителей порекомендовал мне на свободную должность библиотекаря учительницу начальных классов, пенсионерку, не работающую по возрасту и живущую в трудных условиях. Согласился, принял ее и не ошибся. Ее аккуратность, порядок, добросовестность сразу же сказались в работе библиотеки техникума. Библиотека у нас небольшая, не очень богатая, но вместе с фондом учебников является своего рода умственным центром учебного заведения. Открыли и читальный зал в комнате, находящейся рядом. Стало теплее, и теперь здесь всегда много учащихся. Основное требование — тишина. Чтобы слышно было, «как муха летит». Так оно и есть.

Мамалыга сделала свое дело, ребята повеселели. А все же грустно станет, до чего дошло дело, в каком они были истощенном состоянии. Неужели всего этого нельзя было избежать? Молодежь — наше будущее. Она находилась в страшной опасности. В чем причина, кто виноват?

14.3

Познакомился с директором средней школы Годенко. Он позвал меня к себе в гости. Это в первый раз в ст. Уманской в моей жизни. Была выпивка и обильное по нашим временам угощение. Домой возвращался не по дороге, в виду ее непроходимости из-за грязи, а пустырями, причем угодил в какую-то яму в 0,5 м

глубиной. Завхоз сказал, что это бывший колодец, теперь засыпанный. Могло быть хуже. Но важно то, что Годенко сказал, что у него есть родственники, знакомые или какая-то родня в Донбассе и что с их помощью можно купить там уголь для отопления техникума. Учел это, как теперь говорят. Опять при помощи выпивки намечается план приобретения, которое после хлеба является проблемой ². Топить нечем и ничего хорошего не предвидится. Топливо необходимо для отопления классных комнат, общежития учащихся и для учителей. В здании, где теперь находится педтехникум, 15 лет назад была гимназия. Во время грязи богатые казаки подвозили своих детей на линейках или ездили верхом на лошади.

15.3

Был на местном старом кладбище. Забрел туда случайно, гуляя по станице. Судя по памятникам, в станице жила знать, казачья войсковая верхушка. Каменные склепы, мраморные памятники и надписи: «Здесь покоится прах есаула, полковника, атамана». Посажены деревья, кустарники. Видно, умели жить, умирать, и теперь гордо лежат в казачьей земле, завоеванной и освоенной сто лет тому назад. Вот такая саботажная станица Уманская, записанная теперь на черную доску. Вот куда судьба занесла меня. В самой станице, если не 1/3 или 1/4 кирпичных домов, есть просто особнячки внушительного вида и размеров. Населения до 1913 г. было 25 тыс., а может, и больше, как говорят, станица эта была когда-то административным центром Ейского казачьего отдела. А было их на Кубани 7: Баталпашинский, Ейский, Екатерининский, Армавирский, Лабинский, Майкопский, Кавказский.

16.3

Пришла посылка с учебниками и книгами для библиотеки, отобранными мною во время командировки в Ростове. Библиотека начинала полнеть. Кажется, сказывается мой крен,

мое увлечение, страсть относительно книг.

Мечта заполучить трактор в соседней профшколе не оставляет меня. Земля, как женщина в расцвете лет, прекрасный чернозем ждет прикосновения человеческих рук. Да не это главное, а ликвидация голода — вот что стоит впереди.

На всякий случай директор уже подготовил десяток железных лопат.

Весна начинается рано, перепадают дожди. Условия для сельского хозяйства — превосходные. Но все же из головы никак не выходят худые, сморщенные, изможденные, обтянутые тонкой кожей лица женщин на колхозном собрании, словно это действительно лики, запечатленные на иконах.

19.3

Был у директора средней школы Годенко и смеялся (а внутренне — хохотал), когда узнал, что цель его приглашения моей персоны к себе в гости заключается в намерении женить меня на своей сестре, живущей у них. Я, конечно, обратил внимание на то, что когда мы выпивали, девица (довольно смазливая, впрочем) подавала нам на стол и все время крутилась в комнате. Объяснился с Годенко, сказал, что никаких намерений в отношении этой девицы у меня нет и не будет, так как пока не собираюсь жениться. Живем почти как на фронте, тревожно, а впереди в тумане неизвестности — мировая революция. Тут не до этого.

Годенко рассердился. Но я ничего никому не должен. Меня прислали сюда выполнять свой революционный долг, а не романы заводить.

25.3

Сегодня выдался теплый и совершенно весенний день. Мы с завхозом идем на выделенную нашему подсобному хозяйству землю. Сидели на бугре, ярко светило солнце и поддувал весенний, приятный легкий ветерок. Никогда не занимался сельским хозяйством, но в крови, как видно, есть тяга к земле. Как зов давно умерших предков. Впрочем, это интерес-

но, живо и органично связано с человеком, его занятием. Землю я начинаю любить.

6.4

Начали регулярно после занятий ходить отдельными классами на подсобное хозяйство и вручную копать землю под огород. Дела подвигаются медленно. Сегодня получил трактор на одну неделю в соседней профтехшколе. Магарыч получил Нефедов, наверное, вспомнил, как мы с завхозом его угощали (втроем распили 1 литр водки, но это очень мало). Совершенно неожиданно среди учащихся оказался тракторист. Это был все тот же Бирюк Дмитрий, который подсказал мне, как достать семена. Он сам сел за руль и уверенно водил трактор весь день.

7.4

У нас ЧП. Когда шли на подсобное хозяйство, растянулись цепочкой по улице, на двоих учащихся, несших хлеб (2 — 3) булки, напали какие-то люди, выскочившие из камыша. Ученики отстали от нас на 200 — 300 м, находились за поворотом в низине, и их крик мы не слышали. Напавшие выхватили хлеб у них и скрылись в камыше. Когда мы прибежали на место происшествия, ничего уже не смогли сделать, и было поздно. Перед нами стояли две плачущие девушки. Все говорят, что это какие-то голодные люди, станичники, подметившие, как мы ходили на подсобное хозяйство со своим хлебом.

Да, голод, действительно, не тетка. Мы остались без ужина, а кто-то, может, спас себя и детей от голодной смерти. Не жалко, а грустно, тяжело стало. В голову невольно вкрадывается мысль: «А почему все это так? А не слишком ли это дорогая цена за сплошную коллективизацию?»

7.4

Меня назначили председателем комиссии по проверке правильного расходования хлебных фондов в колхозе им. БВО. Никогда этим не

занимался, а потому, очевидно, никаких злоупотреблений не обнаружил. Но, видимо, ничего серьезного там и не было.

10.4

Идут дожди. Зеленеет трава. Деревья также начинают покрываться зеленым нарядом. Тепло во дворе. Холод в душе. Забыть страшную картину агонии одной из богатейших станиц Кубани невозможно. Учащиеся мои приободрились, исправно несут свои ученические обязанности, да еще и копают понемногу землю. Бирюк Дмитрий молодец. Он вспахал около 5 га земли. Трактор забрали, да он и не годится никуда. Колхозы станицы успешно проводят посевную кампанию. Мы также. Уже посеяли подсолнухи и свеклу — самые ранние культуры. Я разрываюсь на две части: учебную и сельскохозяйственную. Подсобное хозяйство — основа всей работы и жизни техникума в следующем учебном году. Должны мы выбраться из тяжелейшего положения, в какое попали в период саботажа, реакции на сплошную коллективизацию и вообще того времени, когда станица висела на черной доске.

11.4

Мне доверяют, со мной считаются: как-никак директор техникума. Опять вызвали в крайоно. Надо надевать большие сапоги и шагать на вокзал по непролазной грязи. Раны сплошной коллективизации начинают заживать. Станица немного ожила. Правда, здесь главную роль играют теперь переселенцы — белорусы, народ крепкий, надежный, трудолюбивый и симпатичный. Для станицы их приезд равносителен вливанию крови в организм умирающего человека, что его и спасает в конечном счете. Своими собственными глазами увидел я эту агонию. Воль и ужас в сердце.

1.5

Станица вся в цвету плодовых деревьев. Взошли всходы на нашем подсобном хозяй-

стве. Душа радуется, хочется жить. Кажется, сбылась моя заветная мечта, я стал не только учителем, а директором Советской учительской семинарии. Но административная карьера никогда не входила в планы моей жизни, я пытался отказаться и только под угрозой дал согласие. Да, мне тридцать лет, жить хочется, но и служить революции тоже надо.

Большую помощь мне оказывают ребята-студенты, вчерашние переселенцы и красноармейцы Леончиков, Янченко, Паденков, Хандожко.

25.5

Предложено собрать все учебники и литературу вообще на украинском языке. Связать и упаковать. Приехала подвода из политотдела и забрала все. Оказалось этого много. Кем-то планировалось проводить деукраинизацию станицы и соответственно техникума. Он назывался Уманский агропедтехникум. От старой гимназии никаких учебников и книг вообще не осталось. Преподавание велось на украинском языке, теперь на русском.

15.6

Произвел первый в своей жизни выпуск окончивших Уманский агропедтехникум, теперь учителей начальной школы. Их оказалось только 11 человек.

Январь 1934 г.

Начало нового года оказалось радостным. Отменена хлебная карточка. Мы получали хлеб по спискам — 600 гр. на душу. Теперь покупай свободно и ешь, сколько захочешь.

Станица Уманская закончила свое черноточное существование. Она теперь ст. Ленинградская, по имени и в честь кавалерийского полка, стоящего у нас и носящего звание Ленинградского. Политотделы перестали существовать. Теперь у нас Ленинградский район, с центром в нашей станице, Станичный Совет, райисполком, райком ВКП (б), комсомола, районная газета и все положенные по нормативам

организации. К станице относятся новые крупные колхозы: Политотдела, Ленина, Кавполка, Кирова, Коминтерна. В районе свиноводческие совхозы и т. д.

«Жить стало лучше, жить стало веселее».

Май 1935 г.

Интересный случай произошел 2 или 3 мая 1935 года. На площади против школы ²⁴ кавалерийский полк показывал верховую езду и рубку лозы. Зевак собралось много, был среди них и я. Дорога полкилометра длины, по обеим сторонам расставлена лоза для рубки. Кавалерист на полном скаку рубит ее шашкой ударом влево и вправо. Лихо, интересно. В полный разгар этого состязания недалеко затархтел трактор, потом, говорили, к начальнику состава подошел чумазый, весь в мазуте, незавидный, среднего роста дядька, извинился и попросил, нельзя ли ему попробовать. На него с недоверием, удивлением и как будто сверху вниз посмотрели. Но так как он не отходил, лошадь ему дали. Он вскочил в седло и как бы прирос к нему. Погарцевал. Ездит здорово. Подъехал и говорит: «А шашку?» Все еще больше удивились, прекратили рубку, расставили лозу, дали ему шашку. Тогда он тронул лошадь и помчался по дороге, рубя направо и налево лозу, не пропустив ни одной. Это подстать лучшим кавалерийским полкам. Все аплодировали. Оказался он бывшим казаком станицы Уманской, служил на действительной, воевал в 1914 — 1918 гг. и имеет георгиевский крест. Но тут меня вызвали в училище и пропустил главное. Говорят, что он попросил расставить лозу еще раз, сел на лошадь, попросил еще одну шашку и, мчась на лошади, рубил лозу и правой и левой рукой. Это, говорят, было зрелище. Командир полка приглашал его к себе и угощал водкой...

Центр станицы, как было сказано раньше, находился в 4,5 км от ж. д. станции Уманская из-за каприза казачков, «шо нэ хотилы, щоб бисова чугушка пугала, а можэ и давила худобу...».



Трехсвятительский храм в станице Уманской.

В каждой станице при планировке отводились специальные площади под церкви и школы в будущем, была она и в ст. Уманской, теперь Ленинградской. Но все же главной была центральная площадь, где находились административные центры — казачье станичное правление во главе с атаманом. Бйский отдел,

размещавшийся в прекрасном двухэтажном здании, красивые большие дома местной казачьей старшины, гимназия, 2 — 3 школы и, конечно, церковь, о ней и пойдет речь дальше.

Среднего размера церковь эту построили, как говорят, в конце прошлого или в начале этого столетия. Кладка кирпичная, но краси-

во, со вкусом, сложена. Что-то простое, но вместе с тем интересное, можно сказать, художественное, было в ее внешнем облике. Смотришь и удивляешься, как умело, добротнo, искусно, с любовью все было сделано. А внутри ее находились вместе со старыми украинскими иконами и копии выдающихся мастеров живописи — Рафаэля, Корреджо.

И вот когда в первой половине 30-х гг. по стране вместе со сплошной коллективизацией прокатилась волна преобразований и решительной ломки старого уклада жизни, началось не только его полное отрицание, но и разрушение памятников, одним из которых были церкви. Уманская церковь была не только совершенным творением нового зодчества на Кубани, но и символом твердости, красоты и силы народа, который молился в ней.

Народа, как такового, и в этом понимании здесь уже не было. Он был развеян гражданской войной, погиб в войнах, выслан на лесоповал в северные края, поумирал с голоду. Осталась одна каменная крепость, символ полета человеческой души к Богу, утешения, радости и скорби. Возник вопрос о ее ликвидации. По станице провели подписку всего населения (теперь уже не

строго коренного, а пришлого) о необходимости разрушить церковь, а потом пригласили отряд рабочих для этой цели. Сперва было несколько ударов большого колокола с интервалами, как звонят перед отпеванием покойника. Жутко было их слышать, хотя символически хоронили старый мир. А потом приступили к разрушению. Но руками ничего сделать не могли. Тогда позвали команду взрывников из воинской части и взорвали ее по частям. Остались невысокие стены, какие стояли, и груда мусора и кирпича — «весь мир насилия мы разрушим». Перед этим я из-за интереса заходил в церковь. Иконы, утварь, иконостас верующие предварительно (и предусмотрительно) растащили по домам. Посредине оставалась железная ограда вокруг святого места, где проводились церковные ритуалы, а верующие казачки при уходе мужей на войну бросали туда в большую каменную нишу свои прошения, письма к Богу — спасите, сохраните, о здравии такого-то. Немного смешно, но вместе с тем наивно-трогательно.

По существу своему это разрушение явилось логическим продолжением революции, происшедшей у нас в 1917 году.



.

Имя украинского писателя Василя Барки, начинавшего свой творческий путь в Краснодаре, а ныне проживающего в США, для читателей «Родной Кубани» не ново. В 1998 г. мы первыми опубликовали его воспоминания о литературной жизни на Кубани в конце 20 — начале 30-х гг. (№ 3), а затем и эмоциональный отклик Василя Константиновича по поводу этого события. Знаком с его творчеством и всероссийский читатель — в 1991 г. «Дружба народов» (№№ 11, 12) представила его роман «Желтый князь» о голоде на Украине 1933 года. Это произведение входит сегодня в обязательную школьную программу, переведено на несколько иностранных языков, по нему снят один из лучших украинских фильмов, его дважды выдвигали на соискание Национальной премии Украины им. Т.Шевченко (и не дали, отдав предпочтение писателям третьего ряда — так бывает).



Василь Барка, г.Краснодар, 1933 г.

И это лишь одна из более чем двадцати изданных им книг, в числе которых и эпохальный четырехтомный роман в стихах «Свидетельствующий для солнца шестикрылых», удостоенный престижной премии фундаии Антоновичей. Свидетель — пожалуй, самое точное определение его жизненной позиции. Отказавшись от университетской кафедры, писатель, художник, богослов, он много лет прожил в уединении в бывшей водонапорной башне в живописной местечке Глен-Спей (штат Нью-Йорк), которая стала духовной Меккой для нескольких поколений украинской интеллигенции. Здесь были написаны такие книги, как «Всадник неба», «Лирник», «Океан», «Кавказ», «Судная степь», «Души эдемитов» и другие, которые при жизни сделали его классиком.

Наши читатели постоянно интересуются состоянием здоровья и нынешними условиями жизни писателя. К сожалению, когда человеку исполняется 94 года, трудно ждать хороших вестей. Сегодня пристанищем старейшего кубанского писателя стал провинциальный старческий дом в городке Либерти штата Нью-Йорк, в получасе езды от любимого, но уже недоступного Глен-Спея. Да и некуда ему больше возвращаться. Пришла в аварийное состояние башня, так и не став литературным музеем, друзьям пришлось спешно спасать рукописи и картины, чтобы они не погибли в оставшемся без хозяина доме. Так и не снискав постоянного пристанища на земле, почти совсем слепой, писатель все больше обращается к Солнцу, свидетелем для которого он был все это пока еще неполное столетие.

КУБАНСКИЙ ХОЛОКОСТ

Летом 1928 года, из-за острых конфликтов с местными партийцами в шахтерском поселке Нижнем («Седьмая рота»), что в Донбассе, я — школьный учитель — по совету приятелей, выехал на Кубань. Когда там, в столице края Краснодаре, было объявлено об открытии украинского отделения на филологическом факультете, я, подготовившись за лето, успешно выдержал вступительные экзамены.

В свободные дни, в конце недели, ездил трамваем в «Сад Роккеля», где на озерном острове можно было разыскать брошенные хозяевами остатки огородины. Тамошние рыбаки свободно пользовались ими, и я следовал их примеру. Далее трамвай вез меня в станицу Пашковскую, на базар. По сравнению с Донбассом, преимущественно гористым, здесь, на черноземе, который относится к богатейшим в Европе, за годы НЭПа быстро восстановилось сельское хозяйство, достигнув весьма высокого уровня. Дворы ухожены: почти как до революции на Украине (рожденный в 1908 году, я видел их); дома побелены и хорошо укрыты; под окнами разбиты цветники; сады и огороды — в добром порядке, хлеба и сараи содержатся чисто; много домашней птицы; свиньи с поросятами свободно пасутся, вылезая через дыры в заборе на широченные улицы, гуляют на травяных обочинах, или, лежа там, греются на солнце. На базаре — полным-полно молочных и мясных изделий, огородины, овощей. Дыню можно было купить за несколько копеек. Благосостояние в станице, которая утопала в садах, под тополями и с высокой церковью, напоминало старорежимные времена. Люди — энергичные и усердные. Язык украинский, такой же, как на Полтавщине.

В студенческие годы, по приглашению товарищей по учебе, временами я ездил с ними в станицы. Одна из них располагалась возле гор, и можно было видеть неподалеку от нее удивительную

скалу, которая по-адыгейски носит название Собероаш. Вид зажиточной станицы, ее быт во всем сходны с пашковскими. В домах безупречная чистота. Хозяева спокойны и приветливы; все время хлопочут по хозяйству.

Однажды путешествовал я пешком через предгорные станицы с украинским населением и через т.н. «линейные», с русским — совсем уже в предгорьях, такие, как Тамбовская, Саратовская. Побывав у моря, возвратился также пешком через другие станицы; всюду один и тот же образ быта, полное благосостояние и только в адыгейских аулах он намного беднее, под полумесяцем над еще не разрушенными тогда мечетями. Изредка встретятся зажиточные дома, крытые жесью.

Другое мое странствие на летних двухмесячных каникулах пролегло, снова пешком из-за недостатка средств, через станицы Афипскую, Северскую, Абинскую, Крымскую, а дальше через горы и через порт к приморскому городку с названием Геленджик (чтобы осмотреть на горе, над ним, славный доисторический дольмен — «богатырскую хатку»). Вернулся пешком назад, к Новороссийску, и потом — к Анапе. Оттуда — через станицу Варениковскую. Она имела добрый быт, как и другие, хотя здесь дворы глухо заперты. Даже дом, что содержал на двери, обращенной непосредственно на улицу, надпись: «Молитвенный дом евангельских христиан». Правда, здесь возле двери стояла лавка для гостей — отдохнуть подорожному человеку. В годы НЭПа везде были открыты церкви, синагоги, мечети и разные молельни со свободным отправлением культов.

Большая замкнутость дворов, наверное, вызвана здесь тем, что неподалеку, в гористых

той и заросшей местности, проходил путь, вдоль которого долго орудовали разбойники; а один перевал поэтому даже назывался «Волчьими воротами».

Достигнув Темрюка, я вышел к Азовскому морю и, переплыв через него корабликом, побывал в Керчи и Феодосии (бывшая Кафа) — в Крыму. Возвращался через Славянск понад речкой Кубанью, по направлению к Краснодару, через прибрежные станицы. Везде одна и та же картина украинского быта, обеспеченного заботливой работой. В одной местности, немного поодаль от больших станиц, был хуторок с коммуной: так официально, на ее вывеске, называлась добровольная артель. Когда я зашел в крайний незамкнутый дом, — там никого не было: все работали в поле. На длинном столе стояла миска с молоком и ря-

дом хлеб. Записка при них приглашала прохожего подкрепиться, что я и сделал. Отправившись дальше, в станице Елизаветинской, постучал я под вечер в один двор и вошел. Исполинские псы набросились, но хозяева скоро выбежали и отогнали их. Приветливые, они дали мне на ужин миску борща и хлеб. В доме — красиво убрано, иконы украшены полотенцами и цветами.

Уровень благосостояния был довольно высокий не только в отдельных станицах, таких, как Пашковская, но также и в тех, что относились к ее «кусту»: например, Динская, где я побывал позднее; и в других районах, хотя не везде одинаково. Лучше жили семьи первых казачьих поселенцев, из войска Запорожского, что прибыли в 1792 году, частью морем, а частью сухопутным с обозами, на пус-



*Конференция Кубанской ассоциации пролетарских писателей
(начало 30-х гг.). Личный архив В.К.Чумаченко.*

тынные кубанские степи, освоили их, основав в 1793 году город Екатеринодар (теперь переименован: Краснодар). Тех переселенцев было около 13.000 душ (по другим сведениям — 17.000). Поступали более поздние волны переселенцев из Украины: казаки с Гетманщины, и уже через три года их стало 25.000. Потом за счет пополнения казачества выходцами из центральных земель Украины (Полтавщины, Черниговщины и других) и репатриантов из Турции, и свободной, с 1864 года, иммиграции неказацкого украинского населения, — число кубанцев возросло семикратно, считая и линейцев.

Перед войной 1914 года, по неточным статистическим сведениям, численность казачества на Кубани равнялась миллиону тремстам сорока тысячам. Казаки и нижние офицерские чины получали земельный надел за военную службу: 30 десятин. Их зажиточность давала возможность легче пережить разруху гражданской войны, чем беднейшим кубанцам, происходившим из неказацких слоев: они нередко бедствовали.

Разделяла, кроме «зажиточности», также сословная граница, из-за которой постоянно велась вражда между привилегированными казаками и «иногогородними»; первые дразнили вторых «гамселя!» (с шумом бить что-то, особенно, во время черной работы) — а те их «когуты!» (петухи).

В Краснодаре, с населением свыше 300.000, быт разнился от нищенского, под двумя храмами — «Белым собором», на центральной площади возле главной улицы (что носила название «Красная» — красивая) и «Красным собором» — название от цвета кирпича — вплоть до роскошного: в партийных, правительственных и других верхах, а также и в домах «нуворишей». Полно всякой живности, цены доступные. Четвертина белой буханки (там хлеб только белый) и четверть фунта халвы стоили 18 копеек; вместо халвы можно купить, приблизительно по той же цене, виноград или кучку помидоров. Обед в студенческой столовой

(борщ или суп и котлета с гарниром) стоил 25 копеек.

Если в кубанских станицах говорили в большинстве своем на чистом украинском (женщины — исключительно так; а в среде мужчин, отбывших воинскую или правительственную службу, с примесью русского), — то в городе использовали преимущественно русский. Население более чем на 60 процентов русифицированное. Проживало много национальных меньшинств, которые имели свой Нацклуб: грузины, евреи, персы (имели свое консульство), турки, армяне, айсоры (потомки ассирийцев), адыгейцы, кабардинцы, греки, осетины, татары. Без русского языка они не могли бы никак объясниться между собою, его использовали как служебный, — в этом основная причина его влияния. Украинцев насчитывалось, если включать лиц, которые стали говорить по-русски, наверное, наравне с россиянами, или чуть меньше.

Странствия вдохновляли меня на поэзию: из непосредственных своих впечатлений я составил два сборника, которые вышли в Харькове, в Государственном издательстве Украины.

Следующие мои посещения станиц состоялись зимой 1931 года: тогда нас, студентов, посылали для участия в «сплошной коллективизации». Мне из-за того, что умел немного рисовать, выпало изготавливать транспаранты под руководством студента строительного (инженерного) техникума, повкого рисовальщика. Он вычерчивал буквы на длинных узких полотнищах красного цвета и на побеленных квадратах из фанеры, а я заполнял их — одни белой, а вторые, по белому, красной «клеевой» краской. Приказано нам было развешивать эти лозунги везде, наиболее часто между тополями над улицами, на площадях между столбами и на домах, «Народных домах». Квадраты прибавляли тоже везде, или комсомольцы брали их у нас и несли в колоннах демонстрантов на деревянных древках — агитируя за колхозы.

Жили мы в частных домах.

Станицы тогда бурлили, как леса в бурю. Начальство поделило их на «стодворки» и сгоняло на собрания в школьные помещения; произносило речи бесконечно долго, а потом выстраивало народ и с переносными плакатами и лозунгами вело колоннами: по восемь мужчин в каждом ряду, — вдоль улиц. Скот, забранный в только что созданные колхозы, голодал и гибнул без надлежащего ухода, так как партийные руководители, не имевшие опыта, провалили дело, приведя хозяйства к полному упадку.

Другие станичники, видя: их скот также обречен на гибель в неминуемой «Колхозии», — потихоньку резали его на продовольствие, что бы не сгнил напрасно в стойлище.

Рухнул привычный быт под напором грозных событий. Наши хозяева в пасмурном расположении духа, притихшие, бесцельно двигались, будто забывая, что надо делать. Акция с лозунгами и плакатами закончилась, и нам приказали возвращаться в город.

Моя первая книжка стихов в 1930 году была разгромлена партийной критикой в «Литературной газете» (Харьков), как вражеская, за идеализм и религиозность. Нападки в украинской секции писательской организации стали невыносимыми, и я по окончании курса летом 1931 года, вынужден был оставить украинские занятия и отойти от всего украинского. Выдержал конкурс на дальнейшую учебу при русском факультете на отделении западноевропейских литератур (средние века). Помогло в конкурсе некоторое знание языков и высказывание «генсека»: «Дети за родителей не отвечают». Вступил в брак; нахлынули родственные заботы, в особенности — когда жена забеременела. Очень жалел про отдаленность, даже изоляцию от украинской культурной жизни и потерю возможности заниматься своей поэзией.

В 1932-м году началась трагедия Кубани. Новый курс в политике привел к ликвидации украинской культуры, что было лишь подступом к тотальной расправе посредством голо-

да. Она застала всех врасплох, хотя беглецы из сплошь голодающей Украины рассказывали о творившемся там нечеловеческом ужасе.

Я и сам посещал дважды центральные земли Украины: побывал у отца, который работал по найму садовником в колхозе, на Полтавщине; и у брата, мастера-литейщика на металлургическом заводе в Днепродзержинске, на Днепропетровщине. Видел я положение земледельцев и фабричных рабочих и слышал много рассказов. Весь ужас повторился, даже в большем масштабе, на Кубани: здесь треть населения от него погибла, начиная с осени 1932 года.

В городе перед тем побывал нарком Каганович и приказал партийным организациям и органам власти забрать весь хлеб «до последнего зернышка», подразумевая под этим все продовольствие.

Начиналось в Краснодаре с того, что закрыли отдельные столовые, например, для научных работников, где мы с женой могли питаться (тогда я, завершив учебу, начал работать ассистентом на кафедре).

Доступными остались всего два или три ресторана, в которых можно было получить кукурузный суп, совсем редкий, голубоватого цвета. Хлеб покупали по карточкам — тоже кукурузный: 450 граммов, больше ничего. Мы спасались тем, что продавали его на базаре и кое-что прикупали (картофель, масло); ходили худые, как тени, и у меня уже распухли ноги, откуда сочилась водичка.

Знакомые, кто бывал в станицах, посещая родственников, рассказывали: там все съедобное «выметают под метелку». Везде ходят бригады с вооруженной стражей и грабят дворы и дома — до наименьшего мешочка с фасолью. Отдирают полы и разваливают стены, разыскивая припрятанное съестное.

На дворах и везде по усадьбам, а также и на полях вгоняют в землю железные «шупы», заостренные книзу, а сверху загнутые ручкой. Выгребают все самое ценное из домов и вместе с отнятым продовольствием грузят на свои

телеги. Даже детскую кашку выбрасывают наземь и растаптывают, лишь бы ничего не осталось на проживание.

Люди начали умирать. Кто был покрепче, отходил к городу. Каждый день мы с женой видели их длинные безнадёжные очереди у продовольственных магазинов, где им ничего не давали, как и нам, — на полках было пусто. Настала зима, и они обессиленные пожились в смесь грязи и снега: на кирпич тротуаров, под витринами магазинов, или в подворотнях; а на площади возле вокзала — повсюду: на мостовую и на боковые травники в скверике. Там и умирали. Трупы их можно было видеть везде по городу, на улицах: мужчины, женщины с детьми или одиночки. Волокуши и подводы едва успевали подбирать их и вывозить за город: к общим ямам с известью или старым заброшенным колодцам. Они умирали также по дорогам к городу, на обочинах дорог, на городских базарах — тоже, так как не имели, за что купить съестного.

Умирали также под стенами Торгсина, полного хороших продуктов; там были всякие деликатесы из мяса и молока, особые сорта сыра, в консервах рыба и овощи, зерно (например, я за серебряную родительскую ложку старого времени, показав ее в кассу и получив билет, получил пакетик пшена).

Если кто из крестьян выменивал себе что-то за золотой нательный крестик, то этого было так мало, что только продлеvalo агонию перед окончательным концом.

Мы с женой чуть держались, приготовившись разделить судьбу обреченных крестьян. Я уже имел десяток открытых ранок, на линиях кровеносных сосудов, откуда выступала грязноватая сукровица.

К счастью, я получил в художественном музее должность научного сотрудника, место предшественника, который выехал из голодающего города. Жалованье мизерное, но оно немного поддержало нас, да и две маленькие комнатухи в пристройке придавались безвозмездно. Та работа помогла выжить.

Поздней осенью 1933-го я получил письмо от учителя К. (воздержусь назвать имя и станцию); мы с ним вместе изучали французский язык у профессорши Козловой, которая окончила Сорбонну до революции; и он имел лучшее произношение, чем я. Приглашал приехать к нему — можно купить на базаре сулию (небольшую бутылку) молока. Предупредил, что надо очень внимательно идти с вокзала степной безлюдной стороной к станции, так как в густых сорняках нападают людоеды, приехавшие откуда-то: наверное, новые поселенцы, так как их никто не узнавал.

Я собрался в дорогу и поздно вечером прибыл поездом на нужную станцию. В станции произошел такой же грабёж продовольствия, как и везде.

Утром собрались на базар. Мне учитель объяснил: надо при покупке наклонять бутылку, потом, выровняв, следить, как уплывает молоко вниз по стеклу. Если медленно, белой пленкой, то оно хорошее; когда же прозрачной зеленью быстро сбегает, значит — разбавлено водой. (Так и оказалось: без исключения).

Вид базара невероятно жалкий. Изможденные люди в обтрепанной одежде бродят какими-то подобиями живых существ. На столах мелочь: желтоватые куски сала на замызганных бумажках или комочки сахара, чуточку муки или зерна в блюдечках; мешочек кукурузных зубков, землистые, тонкие коржи.

От бывшего станичного благополучия не осталось и следа. Плодовые деревья вырублены на топливо, как и заборы тоже; ободраны даже крыши. Окна забиты досками, или заткнуты тряпьем. Сады заросли чащобами сорняков, улицы и дороги тоже. Только посередине еще виднелись наезженные колеи. Казалось, чума прошла через человеческий поселок.

В мои обязанности входило чтение лекций в заочном институте: преимущественно для станичных учителей, которые, повышая свою квалификацию, должны были приезжать на сессию дважды в год. Из-за голодной катастрофы — не все могли прибыть. Вместо этого

надо ехать к самим учителям: там собирать их в кружки, проводить так называемые «консультации» и проверять их письменные работы.

Мне, как наиболее молодому и «крайнему», полагались такие путешествия.

Трудно собрать учителей. Однажды пришлось направляться довольно далеко от станицы в «поселок». Транспорта не получить, и мне дали в станичной администрации старого коня, который еле двигался по дороге, оттаявшей во время оттепели и невероятно вязущей. Вид — такой же бедственный, как и во время предыдущего моего посещения, только усадьбы разбросаны больше, и потому разорение их выглядело еще большей пустыней: невероятно грустной под редкими летающими снежинками. Не было видно ни собак, ни котов, ни даже птиц: все переловлено и съедено. Учителя едва держались — при жалкой оплате, им не до письменных работ, — и само путешествие мое: только для короткого разговора, — было лишним.

Летом 1934 года возобновились мои путешествия от заочного института. Положение тогда в городе немного изменилось, так как в начале мая стали продавать в магазинах консервы из моркови и кабачков, немного приправленных маслом: местная продукция.

По станицам большинство вымерло, особенно в тех, что были занесены на «черную доску» за сопротивление грабежу. Туда ничего не доставлялось, даже соль и спички, и население умирало быстрее. Многие еще раньше выселены в Сибирь. Станица Уманская полностью опустела, как и Полтавская, их заселили переселенцами с севера, изменили и названия: первая стала «Красноармейской», а вторая «Ленинградской». Но переселенцы не удерживались надолго, — многие начали убегать из этого бескрайнего кладбища к своим родным местам.

Одна из станиц так заросла сорняками: высокими, аж до крыши, что напоминала джунгли с руинами, среди которых редко показывались остатки жителей, худых, с тонкими шея-

ми. Дополнительно подкашивали болезни, в частности — малярия. Убедился в том, так как и сам получил ее: трехдневная, тропическая, едва не свела в могилу. Излечение пришло случайно: я читал курс истории средневековых литератур в Институте иностранных языков, слушатели были уже в годах, преимущественно женщины; одна из них, жена профессора медицинского института — Демьянова, принесла семь ампул с синевато-фиалковым порошком и предупредила: никому не говорить о них! — так как это собственное изобретение ее мужа, стоит чрезвычайно дорого и снабдить им многих невозможно. После шести ампул злая лихорадка закончилась.

Станицу возле горы Собоераох мы посетили втроем, преподаватели для заочников: на этот раз выехал сам завкафедрой и один из лекторов. Ничего в станице от бывшего благополучия не осталось. Малолюдная пустошь, как и везде, благодаря гористому рельефу, немного выглядит более приглядно. Над помертвелой станицей гремит из репродуктора на столбе высказывание генсека: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Мы с лектором, понурые, молча переглянулись. Не хотелось верить, что такая дышащая злобой насмешка над жертвами вообще возможна.

Посетил я также станицы, что видел раньше, когда странствовал пешком; повсюду разоренные селения, опустевшие во время голода.

Однажды в станице Крымской побрел я к столовой: там продавали жиденький суп и какую-то кашу. К моему столу подсел, спросившись, мужчина средних лет, хорошо одетый и без признаков голодания. Заказав себе обед, раскрыл замечательный чемоданчик, наполненный бутылками, и выбрал оттуда одну на стол. Во время обеда по-дружески заговорил со мной и предложил выпить вина. Оно было чудесным: казалось, никогда такого не пробовал. Из разговора выяснилось, что мой сосед, работник совхоза, который поставлял наилучшие вина на экспорт. И теперь он отвозит образцы к высокому начальству: на проверку.

Конечно, из заграничной валюты, добытой за изделия местных людей, им, изнуренным голодовкою, ничего не доставалось. Хотя они имели право получить законную часть и облегчить свою крайнюю нужду.

Относительно восстаний: слухи о них бродили в городе, в особенности про бабы «бунты», но определенных сведений о вооруженных выступлениях не было, так как местности, где такие события разгорались, немедленно окружались воинскими заставами, и они не пропускали никого ни туда, ни оттуда. Так же сделано с районами, например на Ставрополье, когда вспыхнула эпидемия чумы, — только тревожные слухи ширились по городу.

Но об одном боевом случае, с жертвами вооруженной стычки, город узнал достоверно, так как с большой торжественностью хоронили специального корреспондента газеты «Красное знамя», члена редколлегии. Шепотом передавали, что ему разрубили голову топором во время стычки, когда окончательно ограбленные люди начали сопротивляться. Сколько было других жертв, возможно, похороненных на городском кладбище одновременно с тем газетчиком, — неизвестно. Только его гроб провезли в катафалке от редакции, через город: главной улицей, в сопровождении духового оркестра и небольшой группы сотрудников издательства и начальственных лиц. Не было известно о размахе стычки: много ли людей принимало в ней участие, из разных дворов, или лишь из одного.

Можно предположить: если бы оборонялся один хозяин, то убит был бы кто-то из самых грабителей в доме или во дворе, но не такая почтенная персона, как спецкор, из редакции краевой газеты. Лица такого положения, подобно известным «очеркистам» В. Ставскому* или Л. Пенчу, что посещали тогда Кубань, — не участвовали лично в обдирании домашних углов: для этого достаточно было «тысячников» и исполнителей из разных «бригад». Они же в сторо-

не пристально наблюдали, что творится, и поспешно составляли заметки для своих очерков. Если нападение задело краевого спецкора, то, возможно, состоялось оно с участием нескольких станичников или даже целой группы.

Убийство народа в 1932 — 1934 гг. получило прикрытие, организованное с международным размахом. За отдельными исключениями, представители западной печати отрицали реальность холокоста голодом, выступая в роли очевидцев, так как, якобы, сами побывали в тех краях и убедились, что все нормально, как всегда.

Особенно необыкновенный способ сокрытия правды использован во Франции, по поручению из Кремля. Там, в Париже, известный советский журналист, автор популярных фельетонов, Михаил Кольцов, в присутствии юристов в качестве свидетелей, сказал, что вот сейчас он придумает невероятные вещи о несуществующем голоде и подаст в одну из буржуазных редакций, а она поместит вранье в газете. Провокационную затею зафиксировали в юридическом документе, и все было сделано, как задумал Кольцов: газета опубликовала фальшивку, приняв за подлинную новость о голоде. И сразу же Кольцов подал к общему сведению юридическую справку о провокации, скомпрометировавшей честную редакцию, которая отважилась опубликовать сведения о геноциде.

Возможно, отчасти в связи с этой услугой, а скорее — за сомнительную роль, в качестве корреспондента в Испании во время гражданской войны, Кольцова, после милостивой аудиенции у генсека, — расстреляли.

12 июня 1990 года, Вашингтон.

*Предисловие и перевод с украинского
В. Чумаченко*

*Владимир Ставский написал о коллективизации на Кубани две книжки: «Станица» и «Разбег». Я слышал, как он читал из них на собрании писательской организации, сквозь крайнюю тенденциозность (в соответствии с партийными установками) там проступают-таки реальные события. — В.Б.

То, что испокон века называлось чудесным словом «жатва», стало «уборочной кампанией». Урожай 1933 года выдался в отдельных местах небывалый, почти сказочный; тяжелые колосья сгибали стебель, и ветер едва их раскачивал. Неисчислимым богатством своего сухого, животрепещущего сокровища желтели нивы, слившиеся в ровные реки — под жгучим солнцем. Ждали жнецов.

А жать было некому. Оттого что страшно поредел народ. И сколько ни косили оставшиеся, те выжившие, — не могли управиться даже с малой частью. Зерно осыпалось. Потом аж до самого Рождества достаивал, погибая, этот богатейший урожай. Не могли помочь и рабочие, присланные с заводов и фабрик. А хлеборобов домучили: еще не умершие, в большинстве своем валялись на земле: совсем опухшие! — из потрескавшейся кожи сочилась водица; или сухие были, как доска. Не могли косу в руке держать. Хотели хоть чем-то подкрепиться, и много их, много заползло в поля: пожевать спелых колосьев. Лежа, срывали колоски и разминали их в ладонях, мяли в платках, подолах, торбах, картузах; сырым зерном набивали пустые желудки; так и мерли на песте! Повсюду на полях полно покойников, не видных со стороны, но стоило только, проползая меж ними, осмотреться, как становилось нестерпимо жутко от этого скрытого кладбища.

Парень добирался к колоскам по нескольким знакомым тропинкам и каждый раз обходил лежавших вокруг мертвецов. Поначалу боялся, даже вздрагивал при встрече с умирающими или уже покойными; но затем при-

терпелся, привык; и сам был уже — как один из них.

Скрытая мертвецкая становилась все ужаснее; тлея с невыносимым смрадом, хоть и была топлена в волнах зреющих хлебов; ровные волны то проносились по ниве шелестящей рябью, прогибаясь под порывами ветра, то — при безветрии — затихали, так что было слышно, как шевелится на колосках мошара.

Когда уставший мальчик, отдыхая, смотрел вверх, тогда на густо-синем фоне неба, усеянном непостижимыми искорками солнца, отпечатывалось пшеничное изобилие, медно-рыжее и щедрое — да, щедрое! Тихо прижимаются колоски друг к другу, скрещивая, как в золотом орнаменте, стрельчатые лучики своего оружия. Протягивают его и наклоняются вперед; это поклон от всех своих зерен, что так четко, в ступенчатом ритме чередуются в колоске. Колышутся колосья легко и плавно; исходит от них такая искренность и доброта, что смотрел бы на них часами, не отрываясь. Неоценимой ризой благодати и печали Божьей укрыты замученные. А еще видно: вверху серебристыми скалами спокойно плывут с юга облака, освещенные солнцем. Хлопец замер, пораженный таинством дива. Потом, заслушав резкий шорох, вздрогнул и мгновенно отполз прочь, в сторону; от жнивья бросился бегом к чертополоху и через овражек в чащобу, где уже никто не найдет. Только там он рискнул выпрямиться в свой небольшой рост и оттуда уже несет раздобытые колоски домой.

Когда началась жатва, то нанимали всех подряд, кто мог косить или снопы вязать. Хо-

* Отрывок из романа «Желтый князь».

дил и дядько Петрун. уже почти выздоровел, мог работать в поле вместе с женой.

Но для парня настали совсем плохие дни — возле косарей, над их душами, стояли надсмотрщики. Приближаться к полю теперь надо крайне осторожно. Утром, едва рассвело, он проснулся от стука в окно; за окном стояла тетка Петруниха и звала:

— Ну-ка, собирайся, пойдем на работу — снопы таскать! Получишь хлеба. Андрей не заставил себя долго ждать; уже когда шли в поле, сосед сказал парню:

— Переходил бы ты к нам! Знаешь, сынок наш умер, — что нужда, а что хворь потом пристала. А все в хате недостает одной души. Если бы захотел, жил бы у нас. И тебе не так тоскливо одному, и нам веселее, — подумай!

— Поработаю немного, тогда перейду.

— Вот и ладно. Смотри же: мы будем ждать!

— Еще поеду маму искать...

— Искать — где? Это же не одно село и не одна станция. Сам потеряешься, не ехал бы!

— Все-таки поеду.

— Если мог, я и сам бы с тобою поехал, да видишь: беда кругом.

— Я сам.

Вечером, возвращаясь домой, увидели, как в одном дворе с большими стараниями обряжают покойника: вокруг мельтешат милиционеры и сельсоветчики, словно рыбаки у подки перед бурей.

— Чего это они? — спрашивает парень.

— Это кара пришла и правду являет: на крикливом активисте, — сказал дядька. — За зло человек и получает зло, как этот Корбик, которого теперь хоронят. Цепкий был и назойливый, людям покоя не давал; мучил их, чтобы партии угодить. Середняка беззащитного преследовал, будто бы тот ругал советскую власть, а этого и в помине не было! Середняк имел конную машину и жил как труженик; кро-

ме машины и лошадей, была у него корова. Его с сыновьями раскулачили, а в его хате активист забрал себе сало и кожух. Прошло два года; теперь и он распух с голодухи и вышел ночью в поле, где косят хлеба. Взял сноп и домой вернулся: прихватил, как когда-то кожух. Забрался с сыном на чердак и обмолачивает потихоньку свой сноп. А кто-то из партийцев подсмотрел и тут же донес на него, как он — на середняка. Пришли скопом другие активисты, злее и дотошнее, чем он сам. Ищут его повсюду и забираются на чердак. Видят: обминает там краденые колоски. И давай бить Корбика, как вора. Избили до смерти. Вишь, кладут теперь на подводу, и это уже его последняя дорога; там, куда он отошел, нет ни снопа, ни нужды в нем. А грех остался без покаяния. Пошли, нечего тут долго смотреть.

В первые дни немощные хлебоборобы двигались вяло и жали понемногу; потом, подкормленные теплой юшкой и кашей, где было немного шкварок, распрямили плечи, и работа кое-как пошла.

Хотя снопы и вязали размером поменьше прежних, для парня они все равно были тяжелы, ровно колоды. Подкормившись, он неожиданно для себя стал сильнее, может, не от самого харча, но и от пробуждающихся в нем сил, — природа брала свое. Он носил снопы аккуратно, сперва обхватывая обеими руками; затем брал одной рукой за перевязло, подсунув под него пальцы, другой снизу помогал себе держать, а сам с трудом наклонялся.

Угнетала не работа, — мучил страх, открывшийся перед ними с самого начала. Жнейка не могла работать, — повсюду лежали мертвые: на небольшом, словно отмеренном, расстоянии один от другого. Видно, каждая умирающая душа, добравшись тайком, сторонилась тех, что преставились, и ложилась поодаль. Трупов так много, что натыкаешься на них

непрерывно: усеяли землю. Пока не начали приезжать погребальные подводы, трупы чернели повсюду, по светлой стерне, и тетка сказала парню:

— Сколько снопов с поля, столько и людей полегло.

Некоторые умерли давно; разило от них так, что жнецов постоянно тошнило. Не могли работать, хотя дышали сквозь платки, закрывающие лицо до самых глаз. Петрунова жена снова подала голос:

— Надо бы развести костер и жечь сырой бурьян — дым перебьет вонь. Так мы делали в девятнадцатом году: тогда белые расстреливали людей и засыпали, а красные, вернувшись, приказали пленным белякам раскапывать ямы и выносить мертвых. Дух стоял страшный, как теперь! — чтобы перебить его, разводили костры и жгли сырые ветки. Потом опять приходили белые и поступали точно так же: приказывали откапывать тех, кого...

— Тихо, тихо! Вы бы, тетя, не договаривали дальше, — советуют жнецы, оглядываясь на дозорных.

— Они не слышат. Так глазами шныряют по людским рукам и карманам, что слушать им некогда.

— И все-таки. Теперь у каждой тропинки глаза длинные — Сибирь видят. Вчера туда человека на смерть запроторили: за горсть колосков, растертых на ладони. Хлопец, носи бурьян, разведем огонь.

Андрею выпала дополнительная обязанность: заведовать кострами; это дело пошло у него быстро. Собирал на растопку сушняк, а потом подбрасывал зеленых веток — для дыма. Дым стоял повсюду, как на пожарище: горький, но в своей горечи чистый, и уже все меньше и меньше лез в ноздри приторно-страшный запах покойников. В других местах тоже разводили костры; дым пошел клубящийся,

укрывая груды мертвецов на стерне. Между снопами ждали они своей очереди на медленной подводе, которая ползла по степи. Дым закрывал и живых, но уже вконец измученных, копошащихся на поле. Выедал глаза, нагонял слезы. Тетка прикрыла веки, вытерла глаза и, глянув окрест, сказала:

— Таких жнив не было от сотворения мира и уже не будет.

Сперва работа шла как болезненная тяжесть для души; с отчаянным ей сопротивлением. Воздух вокруг раскален до такой степени, что уже словно пронзай насквозь, непрерывно вгоняя в пот каждого, кто двигается. Он пышет печным жаром, отяжеляет чувства и заливают тело усталостью. Люди изнемогают среди зноя и тяжелого дыма. Но именно теперь, вопреки самому себе, надо, преодолевая усталость, двигаться по стерне, колючей, как тысячи гвоздей. Это входит в привычку — и трудностями, и заведенным порядком, при котором каждый должен успеть со своей работой. Пообвык и Андрей, даже, наверное, заскучал бы, запрети ему теперь носить снопы и собирать колоски, разводить огонь и поддерживать его, носить ведро с водой и кружку для жнецов; и делать, что велят. Волю и мысли его заполнила работа; от этого даже звериная тоска, которой так долго жил, притихла в нем, словно скованная. Образ матери еще светился в его душе, но и он, казалось, смирился с заботами жатвы.

Для сердца же открылась страница знания, какой нельзя отыскать и прочесть в школьных книгах. Люди здесь удивительно непохожи на городских! — так непохожи, что это мгновенно бросается в глаза.

В городе человек словно бы и не очень чувствует, что его обычные дела так уж нужны миру, и оттого переоценивает свою значимость, ведет себя важнее.

А тут, при полном равнодушии к жизни в бедности, пюди вкладывают в слова и дела добрый смысл. Всегда и все с достоинством, к себе самим и каждому, словно древние жрецы; вот и теперь — срезая стебли пшеницы и связывая их в снопы. Возле хлеба стараются, как перед оком Божиим! С чувством значительности своего труда, однако без малейшего самовозвышения.

Андрей не может постигнуть причин всего и связей. Но с естественной мальчишеской наблюдательностью сразу отмечает отличие горожан от всех здешних. Подытоживает для себя кратко: «Эти настоящие».

Тетка была к нему очень добра: все прибегала что-нибудь из еды — с огорода. Никогда не обижала и не кричала, даже ни разу не рассердилась на него. И он стал с доверием смотреть на нее: как на родную мамину сестру. Как-то бежал босиком по стерне и сухим стеблем пробил ногу возле пальцев, густо пошла кровь. Тетка нашла в корзинке чистую тряпочку и перевязала рану; спросила, где болит.

Через два дня такое же случилось с другим мальчишкой, который работал с родителями на той же делянке. Его мать, всполошившись, бежит скорей перевязывать! Приголубила сына, обнимает его, гладит раненую стопу и утешает хлопца, заглядывая ему в глаза, словно сама хочет переболеть его болью. Никак от него не отойдет. Прижала его к себе, как светлый ангел, переодетый в полатанную одежду и прикрывший голову убогим белым платочком.

Увидев это, Андрей замер на месте и так затосковал! Вспомнил свою несчастную маму! Была она для него — как эта мать для своего мальчика; жалела и утешала; склонялась к нему, как ангел с неба.

И тогда сирота почувствовал, что нет уже

возле него добрейшей в мире души: его мамы. Быстро ушел с поля — в заросли, стоявшие неподалеку глухой стеной, и, закрыв лицо руками, в отчаянии залился горькими, как никогда еще в жизни, тяжелыми слезами.

Не было после этого у него покоя. Каждая минута тянулась долго, с глухой замедленностью, как лишняя, потому что отдаляла от ожидаемой встречи.

После работы, когда ужинали во дворе, постлав ряднину на спорыше, Андрей сказал:

— Пойду искать маму.

— Где же ты будешь ее искать? — спрашивает тетка.

— По дороге, которой мы ехали.

— Как ты ее найдешь — там ведь столько народу?

— Маму я сразу узнаю.

Собирались зеленые сумерки и брались чернотой от высокой ночи с чистыми звездами. Хлопец был уверен, что даже ночью, в самых больших человеческих толпах города и в его переулках, он с первого же взгляда обнаружит маму.

— Зачем торопиться, — говорит хозяин, — если мать до сих пор не вернулась, значит, уехала куда-то дальше, на работу пошла, чтобы раздобыть какую копейку. Потом и вернется.

— Поеду! — повторяет парень, — дадите картошки на дорогу?

— Бери, сколько в торбе поместится, и хлеба напечем: ты заработал. А только не советую тебе ехать в лихую годину. Как же тебя отпустить, если такие, как ты, гибнут повсюду? Вот погоди немного, после жнив и я с тобой двинусь. Нет одному тебе никак нельзя.

— Конечно, нельзя, — поддакивает тетка, — и из головы выбрось! Больше ждал — потерпи еще немного: до конца страды недалеко. Не пушу.

Доужинали молча. Затем быстро засобира-

лись спать. Хозяева были внимательны к мальчику. Но печаль переполняла его сердце, и, когда задули каганец, она прорвалась тихим плачем среди тьмы. Мальчик подождал, пока хозяева, уставшие от тяжелой работы, крепко уснут. Тогда беззвучно, как мышь, взял торбу, с которой ходил на жнива, там были спички, ложка, нож и немного хлеба. Добавил картошки из мешка, что стоял в углу возле печки. Приоткрыл дверь — так осторожно! — без единого скрипа. Неслышной тенью вышел во двор и на цыпочках двинулся к воротам, низко пригибаясь под окнами.

На улице заколебался: а что, если мать пришла вечером? — могло же такое случиться. Будет ждать его как раз тогда, когда он отправился на ее поиски. Заходит во двор: нет, дверь заперта! Тихо в развалинах, которые были когда-то родным жильем. Звезды сквозь безлунную ночь мерцают спокойно, с тайным значением, над близкими могилами.

Он присел у порога, опершись о дверь; только на минутку. Но так незаметно наплывает дремота, навевая свежестью ночи, а затем — сон на сморенного жатвой.

Разрастается в нем одно скорбное чувство, словно отдельная сила, нечто вроде самопобуждения, неравного дневной воле, хотя и близкого ей. Чувство это как бы приобретает зримые контуры, оно живет, действует, мерцает в пространстве и не может угаснуть. Появляясь то там, то здесь, оно вырывает из мрака все, в чем есть некое тайное неуповимое сходство, похожесть, узнаваемость, покрытая, однако, непостижимой тайной. Разгадать ее способна одна лишь душа, присутствие которой здесь необходимо. Она мечется, казнясь и страдая, терпя нечеловеческие муки, и оказывается вознагражденной: вдруг, словно вспышка боли, приходит ясность, болезненно ранящая и неожиданная. Так взрывается бун-

том человек, втоптаный в грязь, человек, терпению которого пришел конец. Плач и ужас разрастаются до беспредельности, до крика, до стога. — они рвутся из сдавленной, словно связанной груди, — потому что видно: призрачной тенью пошатывается кто-то родной среди могильных крестов и не может выйти. И хлопец из последних сил в отчаянии попытается крикнуть, что сюда, на него надо идти. И не может добыть крика из уст своих, хотя вся его душа взметнулась в порыве. Хлопец проснулся.

Огляделся окрест во мгле и сперва не мог понять, где он и что с ним. Вспомнив все, встревожился: столько времени проспал, и неизвестно, успеет ли пройти незаметно к станции и поехать «зайцем» — ведь скоро начнет светать. Потому как звезды уже переместились по небу далеко. Еще надо деньги на билет взять. Открыл хату и нашел спрятанные среди тряпья, в подпечье, рубли: от лесного заработка.

Выходил из села, минуя соседей, другими улицами, — могли увидеть из окон, — выходил крадучись, как ночной зверек. Замирал от шороха в кустах. Задыхаясь, покрывался испариной; слышал, как сердце стучит в ребрах и отдаёт в висках. Нервы напряжены до предела.

Ночь в последние часы как стояла черными своими стенами, так ничего в них не изменилось; и вскоре он, запыхавшись, замедлил шаги. Поравнялся с домом печника и остановился: заглянуть или нет? — надо узнать, не тронута ли земля над зарытым кладом, — не забрал ли кто, дознавшись.

Осторожно обходит хлопец хату и приближается к заветному месту; видит его в мерцающем свете зари и дотрагивается пальцами: не тронута! Полянка покрыта густыми стеблями травы, неподалеку от нее — хищные заросли, за которыми старый огород совсем не виден.

Беглец перебирал траву в поисках любимого зелья; вот, словно забавляясь, сорвал несколько похожих листочков, растер пальцами краешек одного из них; и тот откликнулся запахом мяты, тонким и добрым, милым, как материнский платок.

Меж тем начинало полегоньку светать, такой прекрасной синевой, как этот мятный запах. Пронесся на исходе ночи легкий ветерок, словно напоминая, что пора в путь.

Но воображение сироты не спешит, в пред-рассветных сумерках он мысленно раскрывает тайник и будто видит: тут под зеленью и грунтом — святыня, об огненной силе которой страшно и подумать. И стоять здесь надо почтительно — как в церкви!

Тихонько отошел от таинственного места и двинулся дальше. Когда отдалялся от сельской околицы, на горизонте совсем посветлело, стало виднее вокруг: с той еще не полной ясностью, которая предвещает восход солнца.

Хлопец шел по неровной дороге, покрытой длинными полосами зеленой травы, на листьях которой блестели росы — белые и прозрачные. Светились в них искры. Когда оглянулся на усадьбу печника, там, над святым местом, вставало пламя; с такой огромной и лучистой смесью жасминной просветленности, пурпура, крови, ослепительного горения, словно там зарождались могучие силы не нашей жизни, вознося в небеса сокровище, открытое из глубины земли. Плавающий столб, что разбрасывал свет во все стороны, как стрелы молний, по всему небосводу, как свод дорогого сосуда, — приобрел теперь абрис чаши, — той самой, которую крестьяне схоронили в чернозем и никому не раскрыли ее тайны, страшно умирая друг за другом в обреченном кругу.

Кажется, над ними с нетленной и необоримой силой восходит она: навеки принести избавление.

1958 — 1961

*Перевод с украинского
Л.Танюка*



Петро Кузьмич Воляняк (настоящая фамилия Чечет) родился 28 сентября 1907 г. в селе Гульск на Волини. Отец его вырос в наймах, в школу не ходил совсем, читать же выучился самостоятельно. Мать и вовсе осталась неграмотной. Родители имели четыре десятины земли и троих сыновей. Тяжким трудом на небольшом клочке земли старались добыть они средства для их образования и преуспели в этом, во многом благодаря революционным переменам в жизни страны.

Поначалу жизнь у Петра складывалась удачно. Талантливый юноша, закончив земледельческую школу в Житомире, начал осваивать восточные языки в Средне-Азиатском университете в Ташкенте, а после его закрытия поступил в Украинский институт лингвистического образования в Киеве. В 1930 г. в журналах «Молодой більшовик» и «Червоний шлях» были опубликованы его первые очерки и рассказы.

В 1932 г. начинающий писатель, сделав перерыв в учебе, поехал преподавать украинский язык на Кубань. Здесь он становится свидетелем и участником трагических событий, описанных в публикуемом нами репортаже.

Голод 1932 — 33 гг. и угроза неминуемого ареста принудили писателя бежать с полюбившейся ему казачьей земли, поэтому арестовали его уже на Украине, в родном Гульске, куда летом 1933 года привела тоска по родной хате. Этот ностальгический порыв стоил ему трех лет каторги на Беломоро-Балтийском канале. Отбыв ее, он работал учителем, потом землемером. Война забросила в австрийский Зальцбург. Здесь сразу после окончания военных действий он основывает небольшое украинское книжное издательство, разыскав среди обитателей лагерей для перемещенных лиц своих будущих сотрудников. В новом издательстве увидели свет его собственные книги: «Под Кизгуртом», «Земля зовет» и «репортаж» о голоде на Кубани. Несколько лет назад я чудом разыскал его в крохотном книжном магазине в Мюнхене. Кроме книг выпускали газету «Останні новини» (Последние новости) и журнал «Літаври», на страницах которых шлифовалось его редакторское и журналистское мастерство.

Полученный опыт пригодился потом в Канаде, куда летом 1948 г. он въехал в качестве сельскохозяйственного рабочего. Полгода трудился у фермера, а весной 49-го пошел работать в торонтскую газету «Гомін України». Потом задумал издавать собственный журнал «Нові Дні», первый номер которого вышел в феврале 1950 г. У журнала была счастливая судьба - он выходил почти полвека, щедро отдавая свои страницы литераторам, приверженным классической традиции в искусстве. Печатались в нем и многие кубанцы: поэт из станицы Старокорсунской Никифор Щербина, бывший украинский консул в Екатеринодаре Микита Мандрыка, творец «адыгейской теории» Василь Чапленко, последний кубанский премьер Василь Иванис, «австралийский казак» Дмитро Чуб и другие.

Умер писатель 29 декабря 1969 г. от кровоизлияния мозга. Название одного из опубликованных тогда некрологов меня особенно поразило и потому запомнилось — «Нехай чебрець цвіте».

КУБАНЬ — ЗЕМЛЯ КАЗАЧЬЯ...*

(Репортаж)

Миновали говорливый Ростов, пересекли голубую ленту Дона, брошенную кем-то небрежно на зеленый ковер степи, и наш поезд бодро помчал дальше на восток. Уже убежал на запад Батайск, и навстречу поезду поплыла нежная голубизна южного неба и желтые с сероватыми оттенками стерни степей, которые казались бескрайними, как вселенная, — это и есть Кубань, земля казачья.

Мягко стучит, почти шумит, поезд по рельсам. Стою у окна и жадно вбираю глазами кубанские виды. Подходит старый казак, едущий из Ейска, и несмело спрашивает:

— Разрешите, товарищ, спросить: вы с Украины?

— Да, — отвечаю. — А почему спрашиваете?

— А, так, — смущается немного. — Теперь много вас с Украины едет на Кубань.

— Много? А это хорошо или плохо? — интересуюсь.

— Хорошо! — отвечает поспешно и уже немного смелее. — Отчего же плохо? Разве мы против украинцев? Я и сам полтавец.

— Ну вот, — разочаровываюсь я. — А я думал, что вы казак...

— Теперь нет казаков. Все мы — «граждане», — отвечает мой собеседник, с отвращением нажимая на «граждане».

Минутное молчание. Стоим у окна и молча смотрим в степь, которая протекает мимо вагонного окна на запад. Бросаю взгляд на своего попутчика. Серый и невыразительный мужчина, на первый взгляд, а взглядишься, то сразу видишь, что это не обычный «советский стандарт», а человек весьма отличный от других, имеющий характер и собственный взгляд

на жизнь и мир. С такими людьми можно разговаривать.

Тишину прерывает снова он:

— Что там делается в той Украине, если оттуда так люди бегут? — спрашивает, заглядывая своими синими глазами в мое лицо. Из глаз его обычное крестьянское, немного наивное любопытство вместе с хитрым чертиком выглядывает.

— И все ученый народ едет, — прибавляет спокойно. — Вот вы, например, кто будете?

— Учитель, — отвечаю опасливо, помня, что теперь «человек человеку волк».

— Думаете работать здесь? Есть и у нас в станице учителя с Украины. Аж четверо. Хорошие ребята. Уважают их наши казаки.

— Так вы-таки казак? — спрашиваю.

— А как же! Еще прадед забрел сюда, — отвечает.

Я прошу рассказать, как происходило переселение. Должны же внуки от дедов своих слышать хоть что-то об этом событии!

Вижу, что мой новый знакомый не впервые слышит такой вопрос и, не откладывая, начинает рассказывать. Но напрасно я надеялся услышать о переселении запорожцев на Кубань. Это было что-то другое, отчасти новое для меня. Я услышал, как еще при царице Екатерине надо было Москве заселить кубанские степи не для того, чтобы защищаться от Кавказа, а чтобы завоевать его. Потому приходило войско на Полтавщину, окружало село, забирало старого и малого и под конвоем гнало на Кубань.

Голосили женщины, плакали испуганные дети, а мужчины метались по селу, не имея возможности ни выйти из него, ни защищать

* Публикуется в сокращении.

ся, так как настали черные времена, когда
«наші шаблі поржавіли,
пістолі без курків»...

А коварная Москва воспользовалась этим и
«край веселый,
степ широкий
да й занастила»...

Долго шел такой этап. Больше месяца про-
ходило, пока перебирались через Дон и на ку-
банские степи вступали. Много умирало по
дороге, а когда приходили на место, то стано-
вились табором среди дикой степи и начина-
ли землянки копать и шалаши ставить, чтобы
детей и стариков от непогоды защитить.

Много умирало от воды недоброй, а кто
живой оставался, то позже уже и хорошо жи-
лось ему...

Слушаю этот немудреный рассказ и неволь-
но сравниваю времена царицы Екатерины,
прозванной в народе сукой, с временами «на-
игениальнейшего» Ленина и «солнцеподобного»
Сталина. Только одно различие: тогда лишь
вывозили, а теперь еще и сами убегаем! Убега-
ем, так как нет места украинцу в Киеве или в
Харькове: как за зайцами сталинские песиг-
ловцы охотятся за ними. Оттого и убегают ук-
раинские патриоты из Украины, чтобы жизнь
свою спасти. А вдогонку им из миллионов гром-
коговорителей летит циничное:

«Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек».

Наверное, очень печальный вид был у меня
после этих сравнений, так как мой новоприоб-
ретенный приятель решил утешить:

— Не печальтесь! Все устроится. У нас пока
что еще жить можно, а потом, даст Бог, и на
нашей улице солнышко сверкнет. Только на-
дежда спасает человека от гибели. Вот и верим
все, что придет конец нашим мучениям, так
как ничего же вечного нет под солнцем. Поэто-
му я и говорю так уверенно:

— Сверкнет! Должен сверкнуть, иначе ко-
нец мира настанет.

Прощаюсь. Беру свой чемодан и выхожу в

тамбур, так как подъезжаем к станции Тихо-
рецкой, где я должен выйти, а мой случайный
спутник едет дальше.

2.

Кто-то назвал ст. Тихорецкую кубанскими
воротами. И это правда. Огромный узел, где
сходятся железнодорожные пути из Украины
(через Ростов), Закавказья (через Баку), с Над-
волжья (через Сталинград) и с берегов Черно-
го моря (Новороссийск)!

Запереть Тихорецкую — отрезать Кубань от
мира. Огромные грузы хлеба, нефти, рыбы,
угля, леса, железа и других материалов целы-
ми потоками плывут через эту станцию.

Учитывая важность для экономики стан-
ции и городка, или, лучше сказать, огромной
станции Тихорецкой, органы безопасности
просто беснуется от «бдительности», чтобы не
допустить самовольного, неподконтрольного
ГПУ притока населения. Каждый, кто приезжа-
ет на работу, старательно проверяется.

Заведующий районным отделом народного
образования, к которому я явился, очень мало
интересовался моими профессиональными
знаниями и документами, но все другие доку-
менты старательно рассматривал, учинил мне
настоящий допрос, но и этого мало. Он загля-
дывает мне в глаза и допытывается:

— Кто вам посоветовал ехать на Кубань? И
почему именно на Кубань, а не на Волгу, ска-
жем? Ведь и там открываются украинские
школы, где вы могли бы работать?

В конце концов, все допросы закончены.
Заполняю анкету, и меня назначают на долж-
ность преподавателя украинского языка и
литературы в семилетнюю школу станицы
Новомалороссийской.

Эти несколько часов, которые я пробыл в
стенах райисполкома, убедили меня в том, что
здесь никто искренне не интересуется украи-
низацией. Выполняют неприятный, свыше
данный приказ и все. Выполняют его так, что-
бы только наказанными не быть. По-украинс-
ки в учреждениях никто не разговаривал.

Разве что два-три учителя, которые случайно зашли в отдел народного просвещения и разговаривали на каком-то кубанско-украинском наречии.

Поезд на Краснодар, на котором я должен был ехать, отходил вечером. Имея свободное время, пошел осмотреть станицу. Надеюсь хоть там найти ощутимые признаки украинизации на кубанской земле. Об успехах скрипниковского плана очень много говорилось в Украине, и каждый из нас, кто ехал сюда на работу, надеялся увидеть здесь большие достижения.

Но и здесь ждало меня разочарование, так как, кроме украинского языка, на котором говорило большинство населения, и кроме украинского характера зданий и целых дворов, то есть украинского, что осталось еще от деда-прадеда, я больше ничего не увидел. Не было сомнения, что в Тихорецком районе упрямо саботируют украинизацию, имея на это молчаливое разрешение кого-то из «сильных мира сего».

Разочарованный, возвращаясь на вокзал, покупаю билет до станции Бурсак и жду поезда. На станции все кипит, как в улье. Кажется, что это не станция, а какое-то сборище народов. Кого здесь только нет! Из Сталинграда массово едут рыжие «ванюшки» в конопляных лаптях и полотняных рубашках до колен, еще и шнурочком подпоясанных; из Ростова — разноплеменные «европейцы»; из Баку прибывают смуглые, всегда нахмуренные и молчаливо-гордые кавказцы; из Краснодара идет поток казаков, чеченцев и других горцев.

Вообще, казаков много, но чувствуется, что ходят они по кубанской земле не как хозяева, а скорее как приемыши. А все же, не считаясь с подавленностью, которая черной тучей легла на лица казахи, казаки выгодно выделяются на фоне этого столпотворения. Ходят, будто павы между курами: гордо и уверенно, с пренебрежительной иронией посматривая на всю эту «иногороднюю голытьбу», которая, как саранча на ниву, лезет на Кубань. Чувство превосходства видно в каждом взгляде, в каждом шаге. Кажется, что каждый из них хочет сказать: «Брезгаю

тобой, как лягушкой, но не давлю, так как сапог пачкать не хочу».

3.

Вообразите себе село десять километров длиной и два-три километра шириной, что из отлогих склонов скатывается к берегам широкой степной речки Тихой. Воды в той речке не видно, так как поросла она вся камышами, роголистником и ситнягами. Между теми водными сорняками есть чистые протоки, которыми и бежит вода в речке Тихой. Через ту речку — старая, старая, еще прадедовская, длинная (метров двести!) кладка на высоких дубовых сваях. И когда вы идете по той кладке и сядете себе отдохнуть посредине, книзу ноги опустив, то убедитесь, что в речке аж густо от карасей, плотвы, сазанов и щук. Кроме того, полно раков, а из камышей еще и болотные курочки на чистую воду выплывают.

Такое вот село над такой благословенной речкой казачьей. А в том селе есть: несколько огромных колхозов, в которых работают четыре начальные и одна семилетняя школы, пятьдесят семь членов и кандидатов партии (в том числе одна женщина), три сотни комсомольцев (в том числе семеро девчат) и широкие улицы и площади. Но сказать широкие, значит сказать так, чтобы вы не имели представления о тех улицах и площадях. Надо сказать: широченные! Любой европейский городок среднего размера позавидует таким улицам.

А те улицы поросли лебедой и полынью. А полынь и лебеда такие густые и высокие, что вы еще никогда не видели таких. А в том полынном дозоре протоптаны тропы-кривульки, по которым ходят, и проторены следы-дорожки, по которым ездят.

Если вы небольшого роста, то идете себе такой «улицей», и никто не видит вас, а вы видите лишь синее небо над землей кубанской. Если одарил вас Бог высоким ростом, то ваш картуз плавает над сизым морем этих

попынно-лебединых куш, а вам иногда посчастливится, кроме синего неба, еще и верхушку дома какого-либо увидеть.

Очень редко люди по тем улицам ходят, а еще реже ездят: нет времени — трудодни зарабатывать надо! Не дурак же поговорку выдумал: сюда тень, туда тень, вот и пропал трудодень!

Посреди главной площади стоит церковь станичная («опиум» для народа казацкого, кубанского), а немного выше большой двухэтажный каменный дом, где когда-то правил станичный атаман, а теперь правит станичный совет во главе с присланным откуда-то из далекого района (чтобы не свой был и не пожалел кого, борони Боже!) коммунистом.

Вокруг этого дома большой двор, шелевками огороженный, а во дворе длинный, из красного кирпича, под жестью, дом стоит. В черные времена «звероподобного всея Руси самодержца» Николая II станичный атаман в том доме коней держал. А в наши «наищасливейшие времена эпохи сонцеподобного вождя» Иосифа председатель станичного совета здесь казаков замыкал, чтобы приучить себя уважать, а свою власть и вождя «гениального» больше всего в мире любить.

Так вот, если вы это все вообразили, то уже и знаете станицу Новомалороссийскую (что еще в народе Бирючей дразнят) именно такой, какой она была в августе года Божьего 1932-го!

Население станицы почти на сто процентов украинское, за исключением нескольких зайд, которые прибыли позднее. Это были преимущественно торгаши и ремесленники, которые теперь переквалифицировались на активистов и членов правления. Язык в станице тоже украинский с выразительными признаками полтавского говора. Очень характерные фамилии, которые целиком выдают происхождение их собственников: Кирячок, Тарасенко, Рябичко, Демиденко, Величко, Валяльщик, Полтавец, Ганджула и прочие подобные.

Вскоре после меня прибыла (тоже из Киева)

преподавательница истории. Это было большой радостью для всей учительской общины, которая вся без исключения искренне прониклась украинизацией, и каждый учитель радовался, что школа, в конце концов, укомплектована педагогами. Кроме того, местные учителя имели возможность открыть вечерние курсы украинизации, в которых ощущали большую потребность.

Познакомившись с учителями и немного с населением, я успокоился. Гнетущее расположение духа, которым я проникся с момента, когда увидел враждебное отношение к Украинине сотрудников райисполкома, исчезло. Я ощущал, что не буду здесь белой вороной среди грачей, так как убедился, что все учителя были такие же украинцы, как и я. Отношение к нам, прибывшим из Украины, было искреннее и товарищеское. Общая недоля соединяла нас. Более всего нас тешило, что на нас не смотрели, как на представителей «братского народа». Хотя меня избрали председателем союза учителей станицы, и я стал «профбюрократом», все-таки меня звали к окну, чтобы я послушал, как ученики, став в круг посреди двора, пели кубанский гимн, которого я никогда не слышал. За пение кубанского гимна, да еще в государственном учреждении, грозило такое же наказание, как и за «Ще не вмерла Украина». А все же его пели все, даже дети в школе.

Сословного пренебрежения к украинцам не было, хотя вообще чувство достоинства на Кубани чрезвычайно развито. И все же моей коллеге ученики пятого класса, прервав лекцию, поставили вопрос прямо и недвусмысленно:

— А скажите, Ирина Павловна, вы казачка или мужичка?

Напрасно Ирина Павловна старалась доказать им, что между нами нет различия, что мы все украинцы и все когда-то были свободными казаками, но это не помогло. Никак не укладывалось эта «равенство» в задурированные детские головы, и они твердили свое:

— Э, нет! Мужик — то не казак!

Можно ли было сердиться за это? Ибо разве не лучше крепко держаться своего, чем легко поступиться им и взять чужое? Наверное, именно в этом и есть сила нашего народа.

4.

Надоело мне таскать одним крючком каждый раз по одной (лишь изредка по две!) рыбины. Потому делаю изобретение: рядом с последним коленцем удочки цепляю еще два и к каждому крючок. И превратилась моя удочка в «трехглавого змея», как назвал это изобретение мой новый приятель, тоже рыбак, Павел Диброва.

Сядем мы с Дибровой на «главной магистрали», то есть на кладке, которая соединяет центр станицы с Заречьем, как раз над главной протокой, спиной один к одному, и забрасываем: я своего «трехглавого змея» против воды, а Павел свою «единоличницу» по воде спускает.

Я себе на рыбу ведро на кладку вешаю, а Диброва, по старой традиции, рыбку в сумку снимает.

В остальном никаких различий не было между нами. Оба мы не выпускали из зубов папирос, оба с приятностью вдыхали сырые запахи Тихой, оба одинаково зачарованно вглядывались в густую синеву южного кубанского неба и (и это было самое главное!) к одному выводу приходили:

— Какой мир красивый и дорогой! И как мало надо человеку, чтобы быть счастливым!..

Как посидели час, так мое ведро, а Павлова сумка — полные. Разложим свои причиндалы рыболовецкие на кладку, повернемся лицом друг к другу, да и беседеуем.

Павел Диброва — старый казак, давний еще. Как говорят, «еще деды его из запорожского котла саламаху едали». Сегодня он в добром юморе. Медленным движением обожженной солнцем руки бросает окурочек в Тихую; взглянул в воду, сплюнув через губу ему вслед, и растянулся на кладке. Потянувшись, закладывает руки под голову и смотрит в небо, жмурясь, как кот, от солнца, которое уже катится на запад.

Вынимаю из кармана пачку «Волгодона» и, тоже растягиваясь на досках, предлагаю:

— Закурим, товарищ Диброва!

— Та воно, хоч гусь свинье и не товарищ, но давайте одну спортю, — с едва не королевской снисходительностью отвечает Павел.

— А добрая папироса, — прибавляет, затянувшись. — За такую папиросу следует будет скостить с вас немного, когда будете платить мне.

— Как платить? — удивляюсь я. — За что же я должен вам платить?

— А за то, что в моей хате живете.

— Я? В вашей хате?

Это было полнейшей неожиданностью. Какое-то неприятное чувство пронизало меня, ударило в мозг и стыдом обожгло сознание. На миг показалось, что я в самом деле совершил гадкий поступок: присвоил нажитое чужим потом-кровью, преступление, на котором построено все это «райское» государство. Но только на один миг, так как уверен, что Диброва не обвинит меня в грабеже. Отвечаю шутя:

— А я думал, что это мне власть дом дала, а то вы! Вон как все в мире: живет себе человек и не знает, кто ему добро сделал.

Аж сплюнул мой Павел с досады:

— Еге, власть!.. Была у собаки хата, так и у вашей власти. Власть... — и загнул так, что аж камыш под берегом зашелестел с перепугу. Никогда я еще не видел Павла таким сердитым.

— И вы не боитесь так при чужом человеке говорить? — спрашиваю, улыбаясь. — А что, как я возьму да и заявлю?

— Это черт знает что говорите! — сердится Диброва. — Заявлю... — перекиривляет меня. — Будто он не такой, как я! А если бы и хотели заявить, то кто слышал, что я так говорил?

— Да и то, правда, — соглашаюсь.

Молчим. Тихо над речкой. Будто вымерло все. Только солнце припекает. Кажется, что

слышишь, как звенит солнечный луч, пробиваясь сквозь воздух к земле.

Тишину перерывает колокол. Печальный и торжественный, как мысли наши. По душе звонят. Наскучили кому-то земля и солнце, и пошел синей радости в бескрайних даях искать.

— Снова похороны, — меланхолично констатирует Дубрава. — Оголодал народ, вот и мрет. Каждый день пять-шесть похорон. Не было еще такого, чтобы так от пропасницы мерли.

— Э, еще не так и голодно у вас, — возражаю я. — На базаре все, что хочешь, есть.

— На базаре то есть, но полстаницы на тыквенной каше, даже без пшена, а не то что без масла, живет, — отвечает Диброва.

Снова молчим, и снова тишина. Только колокол тоскует по жизни утраченной и где-то цапля над водой крикнула тревожно. Тоскливо. Печаль, как дым жгучий, растет из груди и за горло душит.

— И давно уже вы не в своем доме живете? — спрашиваю Павла.

— Э, — махнул рукой. — Еще с двадцать девятого года... — ответил и замолк.

Молчал. Только грустью из глаз стрелял. Метнул ее в западной берег, и тогда черная тень (как скорбь растоптанной души человеческой) от верб, что на берегу красовались, на воду упала.

Затих колокол. Утомился, наверное. Да и следует ли тосковать о том, что утрачено навеки? И мы молчали. Садилось солнце за горизонт, золотистой мглой задымленный, и золотило плавни за Тихой. Вдруг поднялся Диброва. Выпрямился стремительно, брызнул силой из глаз и промолвил:

— Ну и чего сокрушаться, как на похоронах? Еще будем жить! На зло им не поддамся пропаснице.

— А скажите честно: с чего вы живете? — спрашиваю.

Смутился Диброва. Немного замялся, а потом шепотом, хотя не было никого вблизи:

— А не скажете никому? Ну смотрите же мне! Вы слышали про «дикие пасеки»? Так вот и я такую пасеку имею. Благодарить Богу, год добрый, дождливый, а степи коммуна забурьянила, оттого меда так много, что разве что в запорожское время было столько.

И в самом деле, странный вид кубанские степи имели. Вместо пшеницы золотой — донник и лебеда в рост человека выросли; вместо проса — мышей, как ковыль, в степи казачьей волнуется; вместо кукурузы — кугай и перекати-поле сизыми овцами степи укрывают. Идешь степью и не видишь, растет ли там что-то, что человек сеял, или, как говорят казаки, «чертячье, да то, что сереньким цветет»? А оно растет и изобилует и цветет все, в самом деле, сереньким и синеньким. И не видно того цвета, а меда столько, что с одного соломенника по восемь пудов набирали.

И было это в стране, которая бросила напыщенный лозунг: «Долой коня — даешь трактор!» Смерть голодная шла степями забурьяненными и на ходу косу точила. Почернели люди от страха и голода, а умирать не хотят. Ночами улы соломенные плетут и тайные пасеки в степи ставят. Надеются, что может смерть голодная, степями идя, об них будет спотыкаться и не так скоро в станицу придет.

А она идет и косит. Государство ей пути широкие проторяет — пасеки степные, тайные «дикими» называет и уничтожает. И все молчат, и все терпят. Не запротестуют, не обзовется даже, да и где найти смелость протестовать, когда вся бескрайняя страна, «от молдавана до фина», и от литовца до японца, день и ночь распекает: «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей»?

Не знаю, есть ли такие герои, но Павел Диброва не пробует протестовать. Он только умирать не хочет. Он и до сих пор верит. Верит и надеется. Через веру эту так упрямо свою пасеку прячет, что никто не найдет.

Неожиданно подъехали дрожки; осанистый мужчина средних лет привязал вожжи к решетке и пошел к дому.

— Ко мне, или к Рябичке? — спрашивал я себя, немного волнуясь.

Постучали.

— Прошу! — отвечаю на стук.

Заходит. Опытным глазом сотрудника сыска осматривает комнату: острым взглядом небольших, железного цвета глаз разрезает меня от темени до самых пят и, подавая руку, рекомендует:

— Филонов, культпроп партячейки.

— Очень приятно, — отвечаю и называю себя. — Я вас знаю. — прибавляю.

— Я вас тоже знаю. А когда мы один одного знаем, — говорит улыбаясь, — то не будем время тратить, а будем говорить откровенно. Я пришел к вам за помощью. Вы знаете, что реакционное казачество саботирует политику партии и правительства, и вследствие саботажа хлеб стоит в степи, и никто его собирать не хочет. Вы должны организовать учителей и учеников на сбор пшеницы.

— Как собирать? — спрашиваю.

— Руками, — получаю лаконичный ответ. — Есть участки, на которых больше бурьяну, чем пшеницы. Ваша задача — организовать школы на сбор пшеницы с таких участков руками по одному колоску. Считаю лишним говорить, что сейчас учительский коллектив станицы, а вы в частности, держите экзамен политической сознательности.

Что можно было сказать на такую речь? Пробовал убедить, что школы очень плохо работают, что длительное время не было квалифицированных учителей, что не было и нет учебников, а оторвать учеников от школы, значит сорвать учебный год и т. д. и т. д. Но где там! Мой культпроп даже и слушать не хочет.

— Первая заповедь — хлеб государству! Не будем торговаться, а завтра вы поедете в степь, осмотрите место работы, вечером соберете общее собрание учителей и проведете постановле-

ние, по которому сто процентов учителей и учеников будут работать на сборе хлеба. А теперь — до свидания, товарищ председатель профкома! Желаю вам успеха. Верю, что мы будем друзьями, а не врагами, — прибавил, выходя из дома.

Официально это зовется культурно-массовой работой, а народ называет просто: добровольно-принудительно! Партия так уверена, что все 100 процентов населения поддерживают ее политику, что даже самый мелкий партийный чиновник исключает любое возражение, как ненужную болтовню и трату времени.

На другой день, когда я вышел с первой лекции, в учительской застал председателя одного из зареченских колхозов, который бесцеремонно, и тоже «не тратя напрасно времени», заявил:

— Товарищ Филонов, говорят, что вы должны поехать со мной в степь, так как вы все будете работать в моем колхозе.

Мы переглянулись с заведующим школы, но ни я, ни он ничего не сказали. Заведующий видит, что я колеблюсь, подходит ко мне и тихо, чтобы не слышал председатель, говорит:

— Ничего не сделаете. Надо ехать, иначе будет плохо. Ваши часы я чем-нибудь заполню.

— Идем! — сказал я председателю колхоза и молча пошел из комнаты.

Ехали длинной, искореженной улицей к плотине. В станице пусто и тихо. Будто притихла она, в ожидании беды. Людей не видно. На работе или попрятались? Временами какая-то женщина высунется из-за хаты и испуганно зыркнет на нас, будто угадывая: «Куда и зачем они едут?».

Выехали в степь. Над степью — северо-западный, холодный ветер и серые, грязные тучи. Из туч сеялась мелкая и густая, как пыль, изморось. Осень окончательно воцарилась в степи. В этом году степь не была золотой, как всегда в эту пору, когда, как гово-

рил Рыльский, на земле лишь «желтые стерни и синее небо» и более ничего. Теперь она не желтая от стерни, а серо-зеленая от сорняков. Однообразие вида нарушали лишь степные тока, которые скирдами, как горами, поднимались в сером тумане. Каждый ток состоял из трех огромных скирд, которые располагались в форме буквы «П». В середину такого «тока» должны были когда-то завезти молотилку и двигатель, смолотить, и тогда жатва закончена.

Подъезжаем к первой группе колхозниц, которые, будто гуси, разбрелись по сорнякам и жали пшеницу. У каждой был серп или нож, и они срезали ими редкий колос, который уже почернел и припал к сорняку. Срезанные колоски бросали в пелену, а тогда сносили на кучки.

Такой вид имела жатва на Кубани! На той Кубани, которая имеет богатейшие черноземы в мире!

— Здравствуйте! — сказал председатель, останавливая коней.

— Здравствуйте, коли не шутите, — ответила неохотно одна из колхозниц.

«Ну, — думаю себе, — наверное, не очень здесь уважают начальство, когда так приветствуются».

К нам подошла коренастая девушка и, пристально вглядываясь в лицо председателя, иронически выкрикивает:

— Смотрите, девчата! Это же наш Петух приехал!.. Мое почтенье, товарищ председатель! Давай поцелуемся с тобой! — И, играя глазами и белоснежными зубами, вытирает губы засаленным рукавом и подходит к председателю.

Председатель, ожидая подвоха, смущается и бледнеет. Протягивает руку и сдерживает атакующую девушку.

— Галька, не бесись! — полушутя, полусерьезно обращается к ней. — Иди лучше жать.

— Что? — с прижимом отвечает Галька. — Жать-ть? А за печенки б тебе жало, паразит такой! — И аж зеленеет от злости.

Потом вдруг возвращается к девчатам и на

всю степь:

— Девчата! .. вашу мать! Начальник приехал, а вы молчите?! А, может, вы бы спели что?

Взялась в боки и крепким и сочным голосом, богатым, как чернозем кубанский, начала:

«Кукурудзо, кукурудзо,
в тебэ лыстя косяком!..
Голова наш у чоботах,
а мы ходым босяком!..

Видю, председатель мой побледнел. А на поле сделалось что-то страшное. Все женщины, будто по команде, бросили работу, взялись в бока, и еще не затихло эхо от Галиной заправки, как грянул могучий припев:

«Гей, гей, гей! ..
вашу мать,
Нащо було нам брэхать,
як нэма в шо узувать?!!

Председатель поробовал перевернуть это в шутку и, стараясь улыбнуться, насколько хватило силы, «весело» крикнул:

— Тю на вас! Показились, чи шо?

Но слишком острой была ситуация, чтобы шуткой кончиться. Какая-то пожилая женщина порывистым движением руки схватила серп и решительно пошла в нашу сторону. Все притихли. А молодница идет. Чувствую, что наступает критический момент. Председатель колхоза нервно бледнеет, засовывает руку в карман и держит ее там, не вынимая.

— Выстрелит или нет?

Вероятно, этот вопрос пришел в голову и воинствующей молоднице, так как она замедлила ход, а потом бросила серп об землю, сплунула люто и прошипела:

— На мать свою суку тукни, что вылупила тебя, подлеца, а не на меня!

Оглушительным хохотом и улюлюканьем толпа единогласно одобрила ее предложение. Небольшая брюнетка, которая стояла сбоку и будто совсем не принимала участия в этом громком карнавале, острым, с металлическим оттенком голосом, поддает жару:

— Чего испугались, тетка Оришко! Серпом по я . . . м его и все!

Снова оглушительный хохот прокатился по степи. Казалось, что чернозем поднялся и праведным отвращением плюет на этого представителя чуждой власти.

— Идите отсюда, товарищ учитель! — обращается председатель ко мне. — Хотя бы чужого мужчины постеснялись, — бросает укор встревоженным, как рой степных ос, женщинам.

— А и в самом деле, бесстыдницы эдакие! — согласилась и Галька. — Правда, лучше, когда мы поем, товарищ Петух? Да и вам, — обратилась ко мне, лукаво подмигнув одним глазом, — будет интересно кубанских песен послушать...

Мне было очень интересно, но председатель, который уже держал вожжи в руках, торопил меня ехать. Сажусь, и кони тронули. Председатель сопит и молчит, только коней невинных кнутом охаживает. А женщины не утихают. Вслед за нами серебряный колокольчик Гали вызвонивает:

«Наварылы нам кандьору,
нэма й соли — лыш вода!
Обицялы рай и щастя,
а тут — горе та беда!»

А вслед за нею сильный хор бросал потоком злого осуждения:

«Гей, гей, гей! ...
вашу мать,
нащо було нам брэхать,
як нэма чим годувать?»

— Что, слышали? — спрашивает меня председатель, когда мы немного отъехали. — Вот и работай с таким народом! Попробуй план хлебодачи выполнить.

— На что-то рассердились, а на вас злость сорвали, — утешаю его.

— На что-то рассердились! — передразнивает. — Они уже «на что-то» с 1929 года сердятся, когда началась коллективизация. Но теперь с этой злости, наверное, что-то плохое выйдет. Вижу, что так не кончится.

А тем временем, пока председатель ропщет на «несознательный народ», кони весело бегут в небольшую балочку, а я сижу и радуюсь, что имел возможность наблюдать «радостную» встречу колхозников со своим председателем. Но вижу, что мой председатель засмотрелся куда-то в сторону, а потом вдруг дернул за вожжи, и кони побежали вдоль балки.

— Куда это мы едем? — спрашиваю изумленно.

— Вот сейчас увидите, — отвечает. Прехали еще пару сотен метров и остановились возле двух длинных и широких, но низких стожков.

— Видите? — спрашивает председатель, показывая кнутовищем на стожки.

— Ну, вижу, — говорю, хотя не знаю в чем дело.

— Что это такое? — спрашивает люто, будто это я поставил их.

— Скирды, не коровы же! — отвечаю.

— Скирды!.. Не скирды, а секретный ток! Видя, что я ничего не понимаю, председатель объясняет мне:

— Не хотят хлеб государству сдавать, вот и воруют и прячут по балкам и сорнякам. Имеем мы хлопот с разыскиванием этих токов. Недавно нашли одного активиста, который с пробитой головой в Крестовой балке лежал. Он за две недели девять таких токов нашел.

— Да оно, — продолжал, вопросительно вглядываясь в мои глаза, — немного и страшно весь хлеб отдавать...

— А разве весь забирают? — спрашиваю.

— Еще и не хватит... — сказал и улыбнулся горько.

— То и не дивно, что казаки хлеб прячут, — говорю. Казалось, что вот-вот найдет просветление, и товарищ Петух запоет другие песни, чем поет ежедневно. Вижу, что мучает его совесть, которая чувствует вину свою перед народом, но покаяться не может.

Очень далеко пошел в продажности своей товарищ председатель.

— Не нам с вами стонать и саботажников оплакивать, — решительно заявляет Петух. — Если я колхозников, а вы учителей пожалеете, то пшеницу в степи белый кожух накроет, и тогда партия спросит нас: а куда вы, ребята, милосердие свое подевали? Почему же вы к власти своей не были милосердными, а только к кулакам и саботажникам?

Прекословить невозможно, так как я и так уже не знаю, как смотрят на меня: надежный я в их глазах или нет?

— Ну, — сказал Петух, когда мы выехали из балки, — это и есть тот участок, что предназначен для школ.

Печальный вид имел этот участок. Свыше пятисот гектаров покрытых донником и лебедой более метра высотой. Темно-грязные, будто сожженные, колоски пшеницы, словно для украшения, были разбросаны в этом зеленом море.

— Скажите честно, товарищ Петух, — обращаюсь с последней надеждой к председателю, — разве можно пускать детей в эти чащи? Что они сделают здесь?

— Должны сделать! Для построения коммунизма в одной стране — самая большая жертва не должна останавливать. Разве честный советский учитель не должен знать этого? — спросил он, выразительно смотря на меня.

Я больше не прекословил и не спрашивал. Считал своим долгом потакать и восхищаться «успехами» в борьбе с саботажем.

6.

Была середина октября. Стояли теплые и сухие дни. Казалось, что снова лето настало. Только густой воздух и бабье лето, которое с синего неба на степи спадало, и еще журавлиные стаи, что под небесами землю свою оплакивали. В эти дни перестали существовать все пять школ в станице Новомалороссийской. По приказу партии и правительства на прорыв пошли. Все как один: от первого класса до последнего, от сторожа до заведующего.

Как разномастные гуси, расползлись дети

по сорнякам. Как за цветами сон-травы гонялись за пшеничными колосочками, которые золотом разбрызганы между сорняками. Сначала было весело, а к вечеру, когда утомились, а исцарапанные руки и ноги стали щемить, будто посоленные, то начались жалобы и недовольства. Уполномоченный райкома партии, который охотничьим псом носился по степи, ко всему присматриваясь и прислушиваясь (казалось, что мысль каждого угадать хотел), на каждую такую жалобу заявлял:

— Оставьте ваш интеллигентский скулеж!

Это «вежливое предложение» уполномоченного райкома предлагалось в паре с таким взглядом его маленьких, глубоко под лоб загнанных глаз, что тот, кто жаловался, сникал и немедленно отходил. Отойдя прочь, оглядывался испуганно, будто чувствовал, что товарищ уполномоченный своим партийным, ленинско-сталинским взглядом прибил ему на спину табличку со страшной, смерти подобной надписью: « Это — саботажник!».

Страшно это глухое, до сих пор чужое и непонятное слово: саботаж. Как наказание Божие, которое никакая сила человеческая не отвернет, неожиданно упало оно на кубанскую землю, будто смертным покрывалом накрыло ее и, казалось, вот-вот задушит все, что осталось живого на ней.

Холера пришла откуда-то и задушила три тысячи кур в колхозе — саботаж!

Гнилец забрался на пасеку, и все пятьсот ульев уничтожено во втором — саботаж!

Свыше трех тысяч кроликов с кролефермы разбежались в третьем — саботаж!

Сорняки в степи вместо пшеницы выросли — саботаж!

Не хотят казаки работать, с голода пухнуть, чтобы Москву кормить — саботаж!

Я, как и каждый учитель, целый день думал, чем окончится этот день. Не припечатает ли нас вечером тем гадючьим словом — саботаж? Но, благодарение Богу, обошлось все довольно хорошо. Уполномоченный райкома был очень доволен, что учителя и ученики собра-

ли за день 72 килограмма пшеницы. Я пробовал объяснить, что это недопустимое расточительство, а не «жатва», когда человек собирает за рабочий день 128 граммов зерна.

— Тот же человек не может жить, если будет есть в день по 128 граммов хлеба, — объяснял я уполномоченному райкома и председателю колхоза, надеясь, что они откажутся от дальнейшего использования школ на «жатве».

— Бросьте свои ненужные шутки, — ответил, снисходительно улыбаясь, уполномоченный. — Партия бьется за каждый грамм зерна, а вы насобирали аж 72 килограмма!

— А я уверен, — прибавил председатель, — что завтра вы возьмете в руки своих учителей, и будет не 72, а 100 килограммов.

— Но согласитесь, — ответил я, — что это преступление! Это — безумнейшая растрата национального богатства!..

Аж оторопели от неожиданности мои собеседники. Минуту смотрели на меня, как на сумасшедшего, а тогда уполномоченный, подойдя вплотную ко мне, сказал, почти прошептал:

— Вы еще слишком молодой, чтобы партию учить! Мы советов не требуем, а саботажников всегда узнаем, пусть даже они и профкомом учителей руководят.

Ужасом обдало меня от этих слов. Показалось, что петля уже стянута на шее и меня сейчас поволокут в подвалы ГПУ. Я проклинал себя за свой длинный язык и начал изо всех сил выкручиваться, лепеча, что я совсем не против того, чтобы школы помогали, а даже наоборот, что меня неправильно поняли и т. д. и т. д. Чуть умирил начальство и побежал догонять учеников и учителей, которые более чем на километр растянулись, направляясь домой.

На второй день мы собрали 54 килограмма зерна, а на третий — детей появилось еще меньше, и мы смогли осилить лишь 37 килограммов. Я посоветовался с директором семилетки, и он официально запретил «жатву», мотивируя это тем, что нет официального разрешения на эти работы от отдела народного образования, к которому относится школа. Начальные школы

последовали нашему примеру. Так и закончились «жатва».

Работа в школах входила в нормальное русло. Нам, приезжим из метрополии, часто казалось, что лишь мы принесли украинскую культуру на Кубань. Мы радовались, что украинская книжка, которая фактически после нашего приезда начала завоевывать станицу, делала свою большую просветительную работу. Было приятно наблюдать, как ежедневно увеличивалось число сознательных украинцев в станице. Кое-кому временами казалось, что мы делаем не «розмосковлення», как говорил Скрыпник, а в самом деле украинизацию неукраинских земель и людей, как в этом старались убедить партия и правительство. Да не так оно было на самом деле, как нам казалось. Убедили меня в этом мои ученики.

Надумав приучать детей к самостоятельной работе и вместе с тем получить этнографические материалы, я дал задание ученикам седьмого класса записать каждому по пять народных песен. Каково же было мое удивление, когда через неделю я получил почти целый «Кобзарь», удивительно неграмотно переписанный. Набросился я на весь класс, а в особенности на лучших учеников, укоряя за намерение надуть меня и за нежелание поискать и записать настоящие народные песни. Почти весь класс расплакался и заявил, что это не произведения Шевченко, а самые настоящие народные песни. Это так заинтересовало меня, что я решил убедиться и таки убедился со временем, что станица поет почти все произведения Шевченко, не подозревая даже, что это стихи украинского поэта. Большинство тех, кто их пел, об авторе никогда и не слышали.

Так шла упорная и трудная работа в школах, целью которой было воспитать новое поколение кубанцев, будущих украинских патриотов. На это было обращено все внимание, этому отдавались все наши силы и время. Мы решили, что партия в своей борь-

бе за Кубань уже не замечает школ, не интересуется ими, и мы, в конце концов, будем иметь возможность стать в стороне от борьбы с саботажем и спокойно работать. Но это была ошибка. События ближайших дней втянули школу в поединок «Кубань-Москва», который должен был решить — имеют ли казаки право на место под кубанским солнцем, или нет?

7.

События развивались очень быстро. Очередным выстрелом Москвы было постановление ЦК ВКП(б) за подписью самого Сталина «О внеочередной, чрезвычайной чистке партии и комсомола в районах Кубани».

Дошли до края кремлевские вельможи: даже своим опричникам Сталин не верит! Наиболее суровую чистку решил сделать, чтобы в партии не остался ни один неуверенный, ни один, кто не способен родного отца и мать голодом заморить, чтобы доказать свою верность Сталину и партии.

Через две недели после объявления постановления, появилась комиссия по чистке и в нашей станице. Встретили ее мрачно и со страхом, будто суд, который намеревается на смертную казнь осудить всех своих подсудимых. Непокорные колхозники пренебрегли и этой возможностью, чтобы «обнаружить свою безграничную преданность партии». В первый день приезда комиссии председатели большинства колхозов вынуждены были рапортовать, что «саботажники» шнурами и цурками поскручивали коням морды и выгнали их в степь. Требовали от оробелого председателя станичного совета целой бригады на ловлю коней, так как колхозники не слушали председателей. А тем временем кони, как взбесившиеся, носились по степи, не имея возможности ни есть, ни пить.

Станичный совет выделил комсомольскую бригаду спасать коней. Но комсомольцы обнаружили полнейшее послушание, и председатель комиссии по чистке, насупив брови, спокойно

заявил председателю станичного совета:

— Ну, что же, пойдешь сам коней ловить, раз не умеешь заставить слушать себя. Это — следствие «умелого руководства».

Председатель станичного совета ощутил, что земля под ним окончательно заколебалась. Он побледнел и умоляющее смотрел на председателя комиссии. Но «Москва слезам не верит». Председатель был безжалостен.

— Чего смотришь на меня, как баран недорезанный? Я что ли тебе коней буду ловить?

Чистить начали с комсомола. За шесть дней вычистили 98,5 проц. комсомольцев! Закончили с комсомолом и принялись за коммунистов. Здесь дело пошло еще лучше. На двери зала, где проходила чистка, стояло два дежурных из ГПУ и, как только комиссия делала постановление: «За бытовое разложение и за потерю классового чутья из партии исключить», один дежурный оставался на двери, а второй брал свою жертву и вел к бывшей атаманской конюшне.

— Еще никогда атаманская конюшня таких племенных жеребцов не имела, как теперь, — радовались казаки.

За неделю работы комиссии из 57 членов и кандидатов партии 40 оказались в конюшне, а 17 на воле. Председатель комиссии созвал общие сборы партийцев, которые еще оставались в партии, и заявил им:

— Чистка в вашей станице закончена, но это не значит, что она закончена вообще. Мы не уедем с Кубани до тех пор, пока не будет сломлен саботаж. В случае необходимости я могу вернуться к вам и сделать повторную проверку. Учтите, что партия оставляет вас в своих рядах условно, давая вам возможность оправдать себя. Основная задача, которая стоит перед вами: сломать кулацко-петлюровский саботаж на Кубани и выполнить план хлебосдачи. Ваш повседневный лозунг: смерть кулаку, хлеб государству! Партия вообще, а товарищ Сталин в частности, будут следить, как вы будете выполнять эту первую заповедь коммуниста. От вас теперь за-

висит, быть в рядах партии или на лавке подсудимых...

На второй день рано (как закончилась чистка) большой отряд ГПУ, что прибыл ночью, окружил всех вычищенных и арестованных коммунистов и погнал их на разъезд Бурсак, где уже ждали вагоны, специально приготовленные для «авангарда революции». Вечером поезд отошел в направления Ростова. Больше про наших коммунистов никто ничего не слышал. Были и згинули.

Рядил их в последнюю дорогу новый уполномоченный райкома товарищ Шор. Шор прибыл вместе с отрядом ГПУ. Небольшого роста, средних лет, с тремя морщинами на лбу и небольшими оловянными глазами, ходит товарищ Шор по станице гордо и уверенно. Длинной кавалерийской шинелью по земле волочит, стальными шпорами на сапожках английского кроя побрякивает — о своей силе людям напоминает. А силу большую имел. Теперь ни председатель станичного совета, ни председатель колхоза не имели права без согласия товарища Шора не то что выдать что-то кому-то, а даже обычного распоряжения о распределении рабочей силы дать. Буквально всем товарищ Шор распоряжается.

На второй день появился он и в школе. Молча осматривал портреты украинских писателей по стенам, а затем поинтересовался библиотекой. Заглядывал в каждую книжку, словно хотел увидеть: а нет ли здесь петлюровщины какой или другой украинской «крамолы»? Надо признаться искренне, что в нашей библиотеке были книжки, которые в Украине уже были изъяты, но, так как, на наше счастье, здесь почти никто не понимал в украинских книжках, то их изымали на Кубани через год или два после постановления. Как правило, на работу на Кубань ехали националисты, которые не могли дальше сохранить свою жизнь в Киеве или Харькове, поэтому никто и не помогал органам народного образования или наркомам выискивать запрещенные книжки, а скорее наоборот. Не удивительно, что товарищ Шор не нашел у нас

никакой «контрреволюции». С тем и ушел.

Под вечер меня и директора школы позвали в станичный совет. Повели к Шору. Сидел за письменным столом, застеленным красным лоскутом. Когда мы зашли, то он без всякого вступления, присущего в таких случаях всем «советработникам», с нескрываемой иронией приветствовал нас:

— Ну, что, «господа украинские патриоты»? Чем похвастаетесь?

Мы остоленели от такого неожиданного приветствия. Директор школы аж остановился от неожиданности. В самом деле, так говорит лишь следователь ГПУ, да и то только тогда, когда его жертва уже сидит в подвалах застенков. На воле, да еще с советским учителем, такой разговор был не совсем уместен.

— Что вы остановились, Павел Демьянович, — обращаюсь я к директору. — Разве не видите, что товарищ Шор шутит?

Но товарищ Шор зеленеет от злости, выкакивает из-за стола и кричит:

— Я вам покажу «шутит»! Я пошучу сейчас! Подбегает ко мне и, брызгая слюной с посиневших губ, кричит:

— До каких пор тебя ноги по советской земле носить будут?!!

Я отступил. Чувствую, что бледнею. Мне казалось, что Шор сейчас позвонит, и я через две-три минуты буду в атаманской конюшне, а оттуда уже не выйдешь на мир Божий. Оглядываюсь назад. Павел Демьянович стоит посреди комнаты, не зная, что делать: идти ко мне или искать спасения в двери. А Шор то кричит, то шипит, как гадюка: тихо, но выразительно:

— Это вы саботажникам, кулакам, контрреволюции кубанской петлюровскую Украину сделать хотите? Это вы, вместо того, чтобы партии помочь хлеб собрать, в школах украинских «культурных» деятелей повешали, а в библиотеку вместо советских книжек контрреволюционной гнильцы насовали? Думаете, партия не видит ваших штучек?

— Ну, товарищ Шор, это уже слишком, — возражаю я.

— Что? Это ты еще и ногами дрыгаешь? Нетронутую девку из себя корчишь? А Ефремов и Яворский в школьной библиотеке, это что такое? Это по-вашему лишь «украинизация»? — выверился и замолк, ожидая ответа.

Мы начали оправдываться, что «История украинской литературы» академика Ефремова и «Экономическая история Украины» марксиста Яворского — частные книжки, которые случайно лежали в библиотечном шкафу. Но где там! И слушать не хочет.

— Мы вас уже раскусили, — шипит, аж свистит Шор, — но не хотим теперь на вас время тратить. Потом вы нам обо всем расскажете, а теперь — одна задача: сломать саботаж и сдать хлеб государству! Сдать все! До снопа! До колоска! До зернышка! До... — товарищ Шор запнулся на минутку, а тогда закончил, протягивая каждый слог: «До пы-лин-ки! Понимаете?».

И замолк. Вижу, что кризис миновал. Его лицо из сизого стало снова красным.

— Ну, — моргаю одним глазом Павлу Демьяновичу. — Сегодня еще живем!

А Шор из палача ГПУ снова превратился во всесильного уполномоченного райкома, которому и солнце повиноваться должно, и приказывает:

— Завтра школы идут копать сахарную свеклу. Поняли? Торговаться теперь не будем, «господа» украинцы?

Желания «торговаться» мы и сами больше не имели...

8.

Начался грабеж. Грабеж среди белого дня: прилюдный и узаконенный. Приказ, как острое лезвие ножа у горла каждого коммуниста, каждого беспартийного активиста, как петля над головой каждого сельского интеллигента, — безотзывно и неумолимо велел:

— Хлеб государству! Только государству и

никому больше! Хлеба! Даешь хлеба!

И от вопля того осыпалась листва с деревьев по садам станичным...

И от рева того чернели ланы солнечно-золотые кубанские...

И тогда:

плакала осень холодная над степями бескрайними и станицами развесистыми.

И тогда:

почернели станицы цветущие, и серая скорбь предсмертная на лица человеческие свою тень бросила.

Никто не говорит ничего, не думает ни о чем, только о хлебе:

— Как его взять? Где его спрятать?

И добывали казаки ту пшеницу золотую тяжело. Ой, тяжело, так как надо уметь взять ее со своей, но в московский кулак зажатой степи плодородной. А «старший брат» хорошо за «младшим» следит — и в кармане ищет: не бери, так как это мое! Вот и прячут казаки золотистое зерно «Кубанки», «Украинки» и «Кооператорки» за голенища, за подшивки, за заплаты на спинах, в картузах, в холохах, вокруг ботинок подвязанных. Прячут и несут ту пшеничку свою, потом-кровью добытую, во двory свои печальные, сорняками поросшие. Как пчелы нектар, дар Божий, сносят ее: по зернышку, по жменьке...

Куда же тебя, пшеничка-годувальница наша, запрятать, чтобы глаз всевидящий из Кремля московского не приметил? И неслыханные еще, сколько мир стоит, тайники для зерна испуганные люди выискивают: под фундаменты печей замуровывают, в бутылки насыплют и в навоз кладут, в полову и солому рассыпают, в свежие могилы на кладбищах закапывают...

А у Москвы союзник верный обнаружился:мышь, как саранча, степи укрывает, самые темные тайники выискивает, и что москаль не забрал, томышь съест!

Да, смерть неумолимая, неотвратимая на Кубань пришла. Как наказание Божье за грехи родительские, на край упала...

Целая бригада искателей «зерновых ям» создана в станице. В кузницах для них специальные стальные копыя изготовлены, и идут они, те бездушные сталинско-московские приспешники, с теми копиями, как шкуродеры, по дворам, по огородам. Велеют лица у всей семьи, когда такие гости во двор заходят. А им безразлично: Москва слезам не верит и жалости не имеет. Не только землю долбают, а и подлоги по домам срывают, печи разбивают. Найдут — они радуются, не найдут — казак счастливый, что голодная смерть завтра еще не придет.

Николай Хвостиков чрезвычайный нюх на ямы имеет. Не напрасно его «королем искателей ям» называли. Это он нашел свыше трехсот тайников, в которых было несколько тонн хлеба, его уже премировали, его фамилию в Кремль самому Сталину телеграфом пересказали.

Но все свой конец имеет — опустели и ямы уже. И товарищ Шор, райкома партии представитель верный, новый приказ дает: забирать пшено, муку, крупы, подсолнечник и печеный хлеб. Люди уже не плакали, а тосковали, как по мертвому. Хвостиков забирал последние полкило пшена, которое женщина в сундук с одеждой запрятала, «национализировал» последний кусок хлеба со стола, забирал семя тыквенное, чтобы раздать его своей бригаде в качестве «трофея».

Комсомолец Юдин, что из бригады Хвостикова, где-то около полуночи зашел со своими подручными в один дом. Именно тогда несчастная хозяйка хлеб, наполовину с просяной чешуей замешанный, в печь сажала. Активисты расселись на лавке и ждали, пока выпечется тот не в доброе время замешанный, хлеб, так как тесто забирать запретил Хвостиков. Кто знает, то ли вдовьи слезы, то ли испуганно-умоляющие глаза маленьких деток, которые, как загнанные зайчата, на псов смотрят, смотрели на комсомольцев, повлияли на Юдина и разбудили в нем человеческие чувства, но факт, что он, дождавшись хлеба, взял одну буханку, а три оставил.

Узнал об этом Хвостиков и чуть не сошел с ума от злости. Как невменяемый прибежал к вдове, перерыл весь дом, но хлеба не нашел. Еще

больше обозленный неудачей — так как был уверен, что вдова не дала детям весь хлеб сразу съесть — написал рапорт Шору, что Юдин «утратил классовое чутье, слыгался с кулаками и саботажниками и семьи раскулаченных хлебом снабжает». Юдина заперли к атаманской конюшне, а на второй день вместе с несколькими «саботажниками» погнали в Тихорецк. После того ни один активист жалости не имел.

Так заканчивался ноябрь 1932 года. Шли дни за днями, одинаковые своей безнадежностью и горем. В конце месяца в станице появился отряд ГПУ. Это была последняя стадия перед ликвидацией станицы. Такие отряды уже были в станицах Полтавской и Уманской. Начальник отряда имел полную власть в случае необходимости прийти в станичный совет и заявить:

— С этой минуты советская власть в станице не существует. Я — военный комендант станицы.

Все, что было к тому времени в станице, утратит свои права. Даже партийцы механически из партии выбывают и идут на высылку рядом с беспартийными «саботажниками».

Некоторое время отряд сидел тихо. Ко всему присматривался, ко всему прислушивался, но даже совета никому не давал. Местная власть бесилась, чтобы выправить ситуацию. В особенности зашевелились активисты, когда прибыла целая партия колхозников из Сталинградского края на «прорыв». Гости ехали на своих телегах, везли свои серпы и косы. На передней телеге какая-то женщина, которая сидела, свесив свои красные, порепанные ноги, держала на граблях красный флаг.

Моросил дождик, густой и докучливый. Выходили степенные казаки, становились на воротах и молча смотрели на этот невиданный ранее карнавал. Не понимали цели этой комедии: на исходе ноябрь, а умные, взрослые люди сгоняют из далеких краев людей на жатву. Стою и я под школой и тоже думаю:

безграничная глупость или провокация? Призадумался и не услышал, как кто-то подошел и, положив руку на плечо, поздоровался:

— Добрый вечер! Любуетесь ударниками?

Оглядываюсь — Павел Диброва. Давно не видел его: не до рыбы теперь.

— Как живете? — спрашиваю. — Как ваша пасека? Удалось ли запрыгать?

— Еще не нашли, — отвечает Павел. — Но что-то теперь думать надо, так как хлеба и у меня маловато. Придется где-то к колхозу прицепиться, так как я то еще так-сяк, но двое внучков у меня. Я... — Диброва запнулся, но только на один миг. — Я не говорил вам еще... Боялся немного, а теперь скажу: сына и невестку заслали, а двое внучков на меня остались. Надо их как-то спасать.

На этом и кончился наш разговор, ибо опасно в стороне от людей вдвоем стоять. Разошлись. Смотрю вслед Диброве, который согнулся больше, чем летом, но ступает твердо и уверенно.

«Этот еще перезимует, — думаю. — Дал бы Бог еще и другим такой силы и живучести, так как идет, в самом деле, неслыханная своими страхами сталинская зима...».

Тишина тяжелым одеялом упала на землю. На станицу наступала темная, осенняя ночь. Она шла стремительно, со всех сторон. Света в хатах не видно. Только в домах станичного совета и отряда ГПУ брезжит.

Густой осенний дождик хлестал всю ночь и нагонял еще большую тоску. Было страшно ложиться спать, так как не знал человек, что его ждет утром.

Где-то на Заречье обозвалась собака. Не люто, а тревожно. Разрезала своим голосом мертвую тьму ночи и замолкла. Позднее собаки заговорили по всей станице: то брехали, то были испуганно.

И так — до утра...

9.

К утру изморозь упала на землю. Серо-желтые сорняки украсились ледовыми сережками,

а серые туманы стояли над станицей, как символ горя и безнадежности. Прихожу в школу чуть раньше, чем обычно. Не сидится теперь в одиночестве — к человеческому обществу тянет. Вижу, что почти все учителя уже собрались. На лице каждого — испуг.

— Слышали? — ко мне все вместе.

— Нет. А что? — спрашиваю, а тревога грудь сдавливает.

— Пятьсот хозяйств раскулачено за ночь. Пятьсот мужчин и пятьсот женщин арестованы. Атаманская конюшня разделена теперь на две части: мужскую и женскую.

— Ну, — обращаюсь я к нашему историку. — Доказывались мы с вами, Ирина Павловна. Из Киева удрали, чтобы здесь попасться.

Но оказалось, что это еще не стопроцентное выселение. Отряд ГПУ этой ночью был «нейтральным». Это была обычная плановая акция, которой руководил уполномоченный райкома Шор.

Боялись, что школа прекратит свое существование, ибо где возьмется сила учиться, когда отца-мать забрали, а дом разграбили? Мы никак не могли понять, что именно сегодня погнало детей к школе. Привычка? Страх остаться в одиночестве? Или неудержимое стремление к науке? Так или иначе, а мы должны были приступить к работе.

Напротив окна моего класса — площадь. Рядом с площадью — двор станичного совета, где стоит длинная атаманская конюшня, построенная из красного кирпича, белой цинковой жестию покрытая. Немного выше стоял большой двухэтажный дом станичного совета. Вижу, как ГПУ окружает двор. На каждом углу дощатой загородки ставят часового. Несколько гепоушников разъезжают верхом. Из конюшни выводят узников на «прогулку». Сначала идет мужской отдел. Строят их во «взводы» по-воински, а один из местных опричников становится среди двора и громко кричит:

— Колонна, внимание! Ша-а-гом арш!

Так же, как во времена Павла на воинском плацу в Гатчине.

Разве не чудо это, чтобы гордые казаки, которые на своей земле даже грозному царю московскому не разрешали себя обижать, теперь, как дети, слушались обычного московского приспешника? Невероятно, но факт: колонна в несколько сотен людей, как войско послушное, марширует.

— В ногу! . . . вашу маты! — выкрикивает надзиратель. — Здесь саботировать не удастся!

И казаки идут «в ногу», не саботируя, а так, как Москва велит.

А тем временем на площади передвигают людей, словно куклы.

— Колонна, стой!

Стали. Головы к земле склонили.

— Разрешите и мне посмотреть, ведь там отец мой...

Это — Оксанка сероглазая, моя лучшая ученица. Стоит и не плачет, но нечеловеческая тоска и обида неслыханная в ее больших глазах приют нашли. Я растерялся от неожиданности. Не знаю, что сказать, чем утешить этого несчастного ребенка. Хотел сказать, чтобы пошла на двор, может к плетню допустят ее, но в это время узников уже загоняли в конюшню.

Прозвенел звонок, и я пошел из класса. На встречу мне из всех комнат выбегали дети и, не обращая ни на что внимания, бежали из школы на площадь, так как туда уже вывели женщин. Как вода в неудержимом потоке, бежали они из дверей на площадь. Подбегали к изгороди, припадали к ней, и восклицания счастья и горя зазвенели на площади.

Учителя вышли из школы и взволнованно смотрели на эту душераздирающую сцену.

Стража пришла в смущение. Отчаянно взорвался выстрел. Ударился эхом в затуманенные берега реки и заглох, как жалоба на несправедливость, совершенную с Кубанью... Площадь замерла. Все ждали, что дальше будет. Было чувство, что висишь на тонкой нити, которая каждую минуту порваться может, и тогда жизнь человеческая полетит в бездну. Но ГПУ видело, что выстрелы здесь не помогут. Немедленно позвали на помощь активистов и начали отрывать де-

тей от матерей. Но это было не так легко сделать. Прошло с полчаса, пока женщин руками, ногами и прикладами загнали в конюшню...

Так закончилась «прогулка» арестованных. На этом закончилась работа в школе, и начались долгосрочные каникулы, конец которых никто не мог предвидеть...

10.

Глухая весть о скорой ликвидации украинизации ходила по Кубани, отравляла сознание и угнетала душу. Некоторые слабодушные уже потихоньку поворачивали в сторону «единой неделимой». В некоторых станицах сорвали украинские вывески и заменили их русскими. В других школах, не ожидая никакого приказа, самовольно русифицировались. Но чувствовалась слабость и нерешительность с обеих сторон. Требовался нажим, какой-либо неистовый ветер, который разорвал бы этот занавес неясности, который разделяет теперь Украину и Кубань. Хотя разъяснение требовалось, но его все не было. Молчит район, не обзывается и «край», что находится теперь в Ростове.

А нажим Москвы растет и растет. Неизвестно почему перестали приходить украинские журналы из Ростова, Харькова и Киева. Официального запрета нет, но и журналов нет. Жалобы на почту не помогли — почта говорит, что это вина исключительно администрации.

— Но почему сразу всех? — спрашиваем. — Разве что сговорились?

Пожимают плечами и утешают:

— Будете русские читать — эти приходят хорошо.

Одновременно станичная пекарня получила приказ выпекать хлеб лишь для учителей и то не для всех, а только для приезжих, которые не имели совсем с чего жить. Хлеб пекли из просяной муки, даже не отсеивая шелуху. Укусишь кусочек такого хлеба, жуешь его, жуешь, а он все прибавляется

во рту. И хотя есть сильно хочешь, а не проглотить без воды.

Шор, всевидящее партийное око в станице Новомалороссийской, отлично выполнил задание партии. За два месяца пребывания в станице он мог смело рапортовать:

— Хлеб забрал, люди мрут...

Но Москва не трубит перемирия. Наоборот, велит добывать умирающих. В станицу приехала выездная сессия народного суда из Тихорецка, чтобы по закону от 7.8.1932 года судить на месте всех, кто, умирая, взял какой-либо качан в степи.

Первой жертвой суда стал Павел Диброва. Он работал конюхом в одном из колхозов. Возвращаясь с работы, каждый раз брал в карман кукурузу из желобов и кормил ею своих внуков. Хвостиков по поручению Шора контролировал конюхов и, встретив Диброву, нашел в его карманах зерно, поймав на горячем.

Суд был «скорый и правый». Квалифицировали Диброву, как «злостного врага государства, отпетого кулака, который был намерен заморить голодом лошадиное поголовье колхоза, чтобы подорвать военную и хозяйственную мощь единственного в мире пролетарского государства».

За это «преступление» — расстрел.

За Дибровой в течение двух дней последовало еще несколько колхозников. Но на это уже никто не обращал внимания. Даже не волновало это никого, так как каждый был уверен, что смерть — неминуема теперь. Какая разница, когда и отчего: сегодня от пули или

завтра от голода, или послезавтра на каторге?

Учителя, даже местные, искали способа выехать из станицы, чтобы спасти жизнь. Такая мысль посещала и у меня, но стыдно было дезертировать. Решаю поехать сначала в Краснодар, чтобы там выяснить положение. Украинский педагогический институт им. Миколы Скрипника в Краснодаре был основным сеятелем украинства на Кубани. Тон и направление задавали профессор Иван Шаля* и доцент Петр Гребинник**. Кто же, как не они, должны были посоветовать, что делать: убегать или оставаться?

Недолго думая, выхожу, крадучись, из станицы, степями обхожу заставу ГПУ, что стоит на главном пути, и пробираюсь к станции Бурсак. Покупаю билет и снова переживаю вне станции, так как самовольный выезд из станицы запрещен, и я боюсь ареста. В конце концов — еду. В поезде, который идет из Ростова, покупаю краевую газету «Молот» и, раскрыв ее, прихожу в ужас. На первой странице огромными буквами:

— Нет больше станицы Полтавской — националистического кулацко-петлюровского гнезда на Кубани! Есть станица Красноармейская — верная опора советской власти и колхозного строя!

Далее шел репортаж о стопроцентном выселении жителей станицы, сообщение о переименовании ее и известие, что первый транспорт новых жителей уже прибыл в станицу. Новые жители происходили из Западных областей, то есть из районов Пскова и Новгорода. Как насмешка над голодной Кубанью,

*Шаля Иван Васильевич (1891 — 1937) — украинский языковед и педагог. Родился на Прилуччине (ныне Черниговской обл.), воспитанник Петроградского университета (1916). В 1926 — 33 гг. — профессор Краснодарского педагогического института. Вместе с П.Горецким создал учебник «Українська мова. Практично-теоретичний курс», выдержавший 8 изданий. Автор программной статьи «Українська літературна мова і мова Кубанщини» и нескольких журнальных публикаций о ходе украинизации Кубани. Один из главных фигурантов сфабрикованного ОГПУ дела о «Союзе Кубани и Украины». 22 августа 1933 г. приговорен к 10 годам заключения. 25 ноября 1937 г. без дополнительного расследования по материалам уголовного дела 1933 г. был приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1960 г.

**Гребинник Петр Васильевич (1899-?) — ученый-филолог. Уроженец г. Луганска. Доцент Краснодарского пединститута по кафедре украинской литературы. Соавтор нескольких учебников по украинскому языку и литературе для кубанских школ. 22 августа 1933г. постановлением коллегии ОГПУ Северо-Кавказского края как активный участник «Союза Кубани и Украины» приговорен к 8 годам заключения в ИТЛ. Реабилитирован в 1960 г.

сообщалось, сколько муки, крупы и других продуктов завезено в станицу Полтавскую, то есть Красноармейскую. Смаковалось, какой прекрасный хлеб выпекает пекарня станицы...

А рядом — передовая на тему: Кубань должна учесть печальный конец станицы Полтавской и немедленно выполнить план хлебосдачи. Пусть знают украинские националисты, что в очереди за Полтавской должны стоять станицы Уманская, Староминская, Новодеревянковская, Новомалороссийская, Новоминская...

До станицы не доехал. На Бурсаке меня ждала Ирина Павловна, преподавательница истории:

— Не ходите туда, за вами приходили уже... Я просила, чтобы ваши вещи вывезли сюда.

Сидели на темной, холодной станции и ждали. С севера мягко залопотала школьная «линейка». Это наш извозчик, старый казак Р-ко, мои чемоданы привез.

— Счастливые вы, что уже вырвались, а как мы перебудем? — нам говорит.

— Да и вам надо куда-то уехать. Чего же смерти ждать?

— Нет, нам нельзя, на кого же свою землю оставим, если все поедет? Да и не пристало казаку свой же хлеб у москаля попрошайничать?

И в самом деле: пристало ли и даст ли он его? Не даст, москаль смерти нашей хочет...

Подходит поезд. Прощаемся.

— Не забывайте нас! Приезжайте, если живы будете...

1948

*Публикация, предисловие и перевод
с украинского В. Гололоба.*



ТИХИЙ МАЛЬЧИК

Умер мальчик от алчного голода, —
Для станицы моей не чужой.
Погребальная наша команда
Закопала его под вербой.

Чей тот мальчик и в чем провинился
Перед стягом державы большой?
Он в казачьей краине родился,
Где покой безмятежный нашел.

А кручиной убитая мать
Отощала в бесхлебье сама.
По нечаянной в доме утрате
Беспричинно лишилась ума.

Умер тихий, послушливый мальчик, —
На могилке пестреет трава.
Беззаветный цветок-одуванчик
Мальчугану взошел в голова.

Без оркестра его хоронили,
Без молитвы святой и свечи.
Только, каркая, свесили крылья
На крестах гайвороны-грачи.

ПОЗАБУДУСЬ В МЕЧТАХ

Позабудусь в мечтах на минуту,
Средь раздорья казачьих степей:
Вижу липовый сад необутый,
Ветер злой на губах лошадей.

Край дождей и тепла, и морозов, —
Голубеющая тишина.
Солонцовые младости слезы
В нем испил я до самого дна.

Позабудусь на самую малость:
Все здесь так же, как было всегда —
И весна не похожа на старость,
И все та на полях борозда!

Пахнет хмелем, домашним укропом
Возле хаты моей огород.
Ходят гуси по улице скопом,
Где подгнили столбы у ворот.

Мне б до нового лета хватило
Огурца и картошки... Да чтоб...
Самородина так уродила!
Рассыпает волчиную дробь.

Я, как явор с листвою осенней,
Разбросаю строку по реке:
Голоса молодых поколений
Откликаются мне вдалеке.

В неге тешиться нам не мечталось:
Похоронки, штыки на пути.
Болевая великая жалость
Запекается кровью в груди.

Позабудусь в мечтах на минуту,
Среди древних казачьих степей, —
Вижу край свой, духовно разутый,
Ветер злой на губах лошадей.

* * *

Кому этот мир оставляли?
Стремили себя в города,
И душу на паспорт меняли
По духу и вере селяне,
И слепо брели в никуда.

Змеею петляла дорога
И в светлое завтра звала,
Скорей увести от порога,
Подальше от Господа Бога,
От матери и от села.

На гордую высь колоколен,
На храма резные черты
Смотрю с потаенною болью,
Припомнив вечернее поле,
Деревню, кладбище, кресты.

* * *

Степная дорога
Сквозь тени приречных раки
Каленой стрелою
До Черного моря летит.
Но только никто
Не узнает, зачем и куда
Горячая с неба упала,
Исчезла звезда.

Лишь память осветит
Над речкой камыш вековой
И хутор, заросший
Кудлатой высокой травой.
Под темной застрехой
Смеются, рыдают сычи,
Как ведьмины дети,
Резвятся в оглохшей ночи.

Дворы нараспашку.
Калитки и двери скрипят...
Не видно, не слышно
Станичных задорных ребят.
В прозрачные окна
Стучатся, как пули, шмели,
И ветви у ветел
Касаются жаркой земли.

Ночная дорога
Сквозь гомон приречных раки
Каленой стрелой
В мирозданье глухое летит.
Голодное лето...
Не знаю, зачем и куда
С красного неба скатилась,
Исчезла звезда.

.

ГОЛОД 1933 ГОДА

В семье моей свекрови Корниенко Марии Петровны хранятся тяжелые воспоминания о том времени. Ее первый муж Корниенко Ефим Платонович и два малолетних сыночка умерли в тот год от голода. Марии Петровне было тогда 24 года, а ее мужу 26 лет. К тому времени они имели четверых детей — двух девочек-погодков Любу и Валю (четырех и трех лет) и двух младенцев-близнецов. Жили они в родной степной станице Крыловской Сталинского (теперь Ленинградского райо-



*Пархоменко (Гапон) Лукерья Тимофеевна
с внучкой Любой, ст. Крыловская, 1932г.*

на), работали в колхозе им. Н. К. Крупской.

О тех страшных событиях вспоминает их дочь Валентина Ефимовна Филь, моя дорогая золовка, чью нежную опеку и заботу я ощущаю всю свою жизнь. Сейчас она проживает в селе Новоукраинское Гулькевичского района.

— ... Некоторые события я помню сама, многое рассказывала мама и наша дорогая соседка, которая жила рядом и спасла меня от смерти. Отчества я ее не помню, но фамилию и имя запомнила на всю жизнь — Сидоренко Ксения, я ее называла бабуля Ксюша. Наша родная бабушка Гапон (Пархоменко) Лукерья Тимофеевна вместе с моей сестрой Любой уехала к своему сыну Андрею в Сочи, который в то время работал в порту, там было полегче. Вот это и спасло и бабушку, и Любу.

Голод в станице был страшный, очень много людей умерло. Папа и мама работали в колхозе, уходили в бригаду в понедельник, а возвращались домой в субботу, потому что каждый день идти домой не было сил. Они и ночевали в бригаде, там их кормили, а в субботу кто-нибудь приходил домой и приносил в узелочке муки или крупы, которую давал бригадир.

Помню, как хоронили папу. В тот день мама пришла утром, а к вечеру пришел и папа, его привели мужчины. Отец всю ночь кричал, бабуля Ксюша говорила, что у него сибирская язва от голода и истощения, а, может быть, что-то съел. Утром он умер. Папа скончался, конечно, от голода, потому что все экономил для нас, детей, ведь дома были я и еще два братика, которым не было и года. Хоронили отца без гроба, не с чего, да и некому было делать, положили его в старое одеяло, вспоминаю сейчас это как во сне, и

повезли на подводе, запряженной одной лошадкой. Мама пришла домой еле живая.

Спасибо бабуле Сидоренко, которая помогла маме, как родной дочке, своих детей она не имела. У нее была коза, которую она держала в комнате, чтоб не украли, это было большое богатство. Каждое утро она готовила нам жидкую мамалыгу из крупы или муки, которую приносила мама. Муку мама прятала под матрац в нашей детской кровати, где были мы все троим, и строго наказывала, что муку может брать только бабуля Ксюша.

Вскоре после похорон к нам в хату зашли двое мужчин, я их знала, но имен сейчас не помню. Они раньше приходили к родителям играть в лото. И вот спрашивают меня, куда мама спрятала муку, они видели, как вчера она что-то принесла в узелке. Я с братиками сидела на кровати. Как они уговаривали меня показать, где мука — и конфетку обещали, и петушка на палочке. Но я помнила мамин запрет и ничего не сказала, а поднять нас и заглянуть под матрац они не догадались. Тогда эти мужчины нас обокрали, открыли сундук, забрали все мамины вещи, сложили в узел и унесли. Мама пришла, когда все это уже случилось, но никуда она не пошла, у нее просто не было сил

куда-то идти. Соседи вокруг тоже очень голодали и к ее приходу многие умерли, так что выяснять отношения было не с кем.

Через две недели после смерти отца умерли и мои братики. Мама похоронила и их. Бабушка Ксюша сказала маме, чтобы она возвращалась в бригаду, все-таки там как-то корили, а меня забрала к себе. Я уже начала пухнуть от голода и чуть, было, не умерла, они с дедушкой выходили меня и спасли от смерти. Не помню, сколько прошло времени, я стала поправляться, было уже тепло, я сидела на скамеечке возле калитки и вдруг вижу: идет моя мама. Как она, бедная, увидела меня, как кинулась ко мне! Сколько было радости у нее, что я живая!

Знаешь, Танечка, мне сейчас трудно об этом вспоминать, это было страшно. Голод. Через два года, в 1935 году, умерла моя спасительница Сидоренко Ксения, а вскоре и ее муж. Царство им небесное и вечная моя благодарность.

Моя родная бабушка, Лукерья Тимофеевна, вернулась с Любой в станицу в 1934 году, забрала нас с мамой в свою хату, где мы и стали жить дальше.

ВОСПОМИНАНИЯ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НИКИФОРОВА*

В 1926 году после окончания Ленинградского пединститута им. Герцена я прибыл в распоряжение Северокавказского крайоно.

В 1931 году вместе с двумя товарищами, одной работницей и одним интеллигентом меня направили в Армавирский округ уполномоченным крайкома по уборке картофеля и овощей в станицу Бесскорбную. Здесь мы организовывали заготовку и вывозку картофеля и свеклы. В 1931 г. урожай кукурузы, картофеля и свек-

лы был очень хорошим, а насчет хлеба не знаю. Но только организуем в одном месте выход на работу и вывозку овощей и поедем в другое место — на первом месте люди перестают работать и расходятся. Вывоз падал. Одной из причин была недооценка заготовки овощей, допускавшаяся рядом краевых и местных работников.

Когда мы в первый раз приехали в Бесскорбную, состоялось партийное собрание.

* Никифоров Сергей Васильевич работал в РГУ зав. кафедрой педагогики. В последующем — пенсионер. Запись сделана П. Г. Чернопицким в 1962 году.

На этом собрании выступали окружные и районные руководители, которые бросили лозунг: «Все силы на уборку кукурузы!». А когда мы уезжали из Ростова, состоялось решение крайкома, в котором было указано на необходимость 30 процентов всей рабочей силы на местах направлять на уборку картофеля и овощей. Я, а затем и мои коллеги выступили на собрании и решительно заявили, что мы требуем выполнения решения крайкома. Тогда выступил секретарь окружкома и сказал, что лозунг «Все 100% — на кукурузу» дал Ларин, который был в округе уполномоченным по хлебозаготовкам зерновых.

Когда мы стали беседовать с секретарем окружкома одни, он сказал: «Ты что, дурак?». Я ему ответил: «От дурака слышу». Во-вторых, Ларин — член бюро крайкома, а не крайком, а есть решение крайкома о тридцатипроцентной норме рабочей силы на уборку овощей. И я требую выполнять решение крайкома. Ответ был таков, что есть указание Ларина. Тогда я немедленно выехал в Армавир, в РКИ; там я все рассказал председателю РКИ, старичку, старому члену партии чуть ли не с 1905 года. Он сказал мне: «Напишите заявление». Я написал, что в моем лице секретарь окружкома оскорбил райком, и потребовал разобраться во всем и выполнить решение крайкома. После вызова секретаря окружкома в РКИ он сменил гнев на милость, пришел ко мне в гостиницу, попросил забрать заявление, и мы договорились, что он будет нам помогать.

Были всякие случаи. В поселке Пятихатки, в латышской коммуне, куда я приехал, мне сказали, что они на час ночи назначили «штурм свеклы», а председатель колхозной парткомы не явился. Пошли домой — он лежал в доме пьяный. — «Сегодня мы будем его разгребать и настаивать на исключении из партии», — говорили. И просили у меня совета, как быть. Я узнал, что председатель ставропольского шахтера, какой-то тысячник, направлен-

ный на работу. Я подумал и сказал: «Пожалуй, исключать не стоит, а выговор вынести следует».

Вскоре, будучи в Армавире, я встретил его на улице. Он обнял меня, благодарил, говорил: «Вы спасли меня, ведь я шахтер, приехал добровольно дело делать, а те безобразия, которые здесь творят, я не могу уже выносить. Вот и напился. Я выпил не один, а три стакана и не закусывал, чтобы именно напиться». — Потом он повел меня в кабачок, там я покушал, выпили по стакану вина.

О другой причине того, что колхозники не хотели убирать картофель в 1931 году, говорит следующий факт. Я не мог понять, почему колхозники, как только мы уезжаем, перестают работать. Однажды мы ехали вдвоем с председателем колхоза в машине. Я ему говорю:

— Слушай, в чем секрет? Скажи, пожалуйста, мне, чтобы я имел представление. Никто этого не узнает. Он говорит:

— Хорошо, только дай слово, что все, что я скажу, ты сразу забудешь.

— Даю слово.

— Мы сами не вывозим картофель, а вывозит «Союзтранс». За каждую тонну вывезенного картофеля мы платим ему 60 рублей, а государство его у нас принимает по 30 рублей за тонну. Мы несем колоссальные убытки.

— Ну, так картофель, оставленный в поле, все равно ведь погибнет.

— Да, но не совсем. Мы весной пустим туда свиней, они будут кормиться, да и наши бабы кое-что будут копать, собирать себе на зиму. А главное, мы не будем нести убыток из-за выплаты «Трансу». Вот как у нас все выходит.

И действительно, колхозы несли громадные убытки. А разве вышестоящие начальники не знали этого, не знали, что такое положение? Конечно, знали об этом и, наверное, хорошо знали, но действовали так, как будто это их не касалось.

В начале 1933 года, после 1-го Всесоюзного съезда колхозников-ударников, меня вызвали в райком. Я уже учился в аспирантуре пединститута и был секретарем партийной организации преподавателей и аспирантов пединститута. Мне в крайкоме сказали, что нужно выделить коммуниста для организации на Кубани пропаганды решений съезда колхозников и других решений. Будет организован ряд пунктов, в том числе и на Кубани, где будет проводиться эта работа. Я сказал, что все коммунисты у нас уже мобилизованы.

— Ну, тогда езжай сам. В помощь дадим студента старшего курса Краснодарского пединститута.

Я собрался ехать. Встретил на улице своего коллегу по пединституту. Узнав, что я еду на Кубань, он полушутливо, полусерьезно сказал:

— Суши сухари, набери их побольше.

— А зачем?

— Там голодают.

Я как секретарь парторганизации погрозил, чтобы он не распускал ложных слухов и не говорил ерунды.

В Армавире мне дали в помощь студента и направили нас в Каневской район, а оттуда в станицу Старо-Платнировскую. Здесь все голодали. Люди пухлые, многие умирали.

Нашей задачей было организовать занятия по определенной программе для актива колхозов и МТС и следить, чтобы они проходили нормально. Многие приходили на занятия пухлые, почти не слушали. Однажды, когда лекцию читал начальник политотдела, все, положив головы на сложенные на столе руки, спали до храпа. Я сказал начальнику политотдела, почему же он читает, все же спят. Он ответил: «Пусть хоть здесь отдохнут бедные, они устали».

Жили мы впроголодь. Многих выселяли как саботажников. Собирали в подвалах сельсовета и отправляли на Север в вагонах. Однажды уполномоченный милиции сказал мне, что он может показать человека, который зарезал и съел своего ребенка. Я не поверил. Привели

мужчину с безразличным взглядом потухших глаз. Мужчина без тени всяких эмоций признался: когда голод в их семье дошел до невыносимости, они с женой решили зарезать и съесть самого маленького, 6-ти лет. Об этом услыхали другие дети, немного постарше. Один из них все время спрашивал мать: «Мам, скоро будэм Ваську йисты?» Они зарезали маленького, сварили его и кормили детей. Потом его арестовали.

Голод опустошил его. Я узнал потом, что это был колхозный кузнец, имел 384 трудодня.

У меня началось какое-то нервное заболевание: потеря ориентировки. Выйду на улицу из правления, а куда идти домой — не знаю. Тогда студент ведет меня на квартиру.

По телефону из района поступали указания: объезжать по ночам все хаты, собирать умерших, чтобы к утру все были закопаны. Голодал и подыхал скот. Однажды в одну ночь пало сразу около 52 свиней в колхозе. Накануне они долго были без корма. Затем им дали свеклу, холодную, со снегом, не очищенную. Чистить ее некому было. Свиньи съели ее и стали подыхать. Что делать? Ведь за это придется отвечать. Решили сказать, что кто-то отравил. Но секретарь ячейки комсомола взял одну свинью на линейку и повез в район, к ветеринару. Тот осмотрел и дал заключение: свинья совершенно здорова и мясо можно есть. Тогда колхозникам была роздана большая часть.

Часто падали лошади. Голодные, немощные, они обычно заболевали сапом, их часто пристреливали. Вывозили за станицу в ямы, там обливали известью. Павшую лошадь везли на бричке, собиралась большая толпа голодных людей, и только лошадь сапную, заразную, сбрасывали в яму и еще не успевали залить известкой, как люди бросались на труп и ножами, топорами, руками рвали куски мяса.

Я уже с трудом работал. Председатель колхоза и начальник политотдела позвонили в район, спросили, что делать. Им ответили: пусть он выедет к нам в район.

На следующий день я получил большую булку хлеба на дорогу. Пришел в контору к счетоводу колхоза и стал укладываться. Счетовод жадно смотрел на хлеб. Он был уже пухлый. Он вышел в коридор, а я подумал и решил отдать ему хлеб. У него и дети были пухлые. Я позвал его в комнату и говорю, что уезжаю в район, потом в Ростов, так что я буду скоро дома, поэтому столько хлеба мне не нужно. Я отрезал кусочек, а остальное отдал ему. Он вдруг весь задрожал и упал на колени, стал целовать мои сапоги и говорить:

«Простите меня, простите меня, пожалуйста, я хотел вас зарезать, зарубить топором и забрать хлеб, простите меня». Я его кое-как успокоил и уехал в район.

Весной стали завозить муку и ночью прямо по хатам развозить. Тогда народ воспрянул духом. В районе меня осмотрел врач. Он сказал, что заболевание надо лечить стационарно и долго, дал мне лекарств. Стало значительно легче. Мне дали справку, что я отпущен по болезни. И с попутчиком-сопровождающим я выехал на санях по льду реки на станцию.

Когда проезжали мимо одного хутора, опять видели картину, как люди рвали павшую лошадь. Шедшие впереди нас по льду несколько женщин тоже бросились туда. Ни у кого это не вызывало ни удивления, ни отращения, ни возмущения — все стало уже обычным.

— А что же говорили люди, с которыми вы работали, на собраниях, на всяких сборах?

— Все молчали. Запуганы были. За малейшее недовольство арестовывали, как за кулацкую агитацию и саботаж. Никаких вопросов не задавали в 1933 году. Ничего не говорили. Боялись, молчали.

— А что вы думали, как вы себе все это объясняли?

— Сначала я верил, что это саботаж. Потом стал думать, что допущены какие-то ошибки. Но все равно молчал.

— Ну, а когда вы приехали домой, что же вы сказали в крайкоме?

— Что я сказал? Сказал, что саботаж...

— Почему же?

— Знаете, такая была обстановка. Она очень действовала на каждого. Знаете, я вступил в комсомол в 1922 году. Был у себя в селе, около Кизляра, единственным комсомольцем, создавал в округе первые комсомольские ячейки, научился говорить смело, бороться за правду. Однажды в присутствии Нариманова, Председателя ЦИК СССР, смело высказал мнения и претензии крестьян: «Берегите этого комсомольца». Так же я поступал, когда учился и работал в Ленинграде и в Ростове. Но вот после поездки в 1931 году на Кубань, а затем в 1932 — 33 гг. я стал побаиваться, видел, как поступали со многими из тех, кто прямо высказывал свое мнение. И еще один случай меня убедил в том, что не надо быть особо говорливым.

Однажды, это было уже позже, я как депутат райсовета получил приглашительный билет на торжественное первомайское собрание. Оно происходило в театре им. Горького. Я пришел раньше, минут за 30—40, и вошел не в ту дверь, которая ведет в зал, а по ошибке зашел в дверь рядом. Там в небольшой комнате сидел за столом человек, около него стояли трое. Он что-то у них проверял, и я решил, что, может быть, приглашительные проверяют. Человек спрашивал: «Ваш номер?» — и говорил: «Ваше место... (такое-то)». У меня приглашительный был без номера. Он и у меня спросил:

— Ваш номер?

— Какой номер? — удивился я.

— Как «какой»? Агентурный. Ваша карточка? Вы кто?

Я ему показал удостоверение депутата и пригласительный билет.

— Извините, гражданин, вам не сюда, вам надо в соседнюю дверь, — ответил он. Я вошел в зал и обратил внимание, что человек пятьдесят сидели в шахматном порядке. Размышляя потом, я понял, что это сидела агентурная сеть НКВД, которая контролировала все разговоры приглашенных на торжественное собрание. Это тоже заставило меня сделать определенные выводы.

В 1937 году, будучи директором педучилища, я был арестован ни за что, сидел, ссылаясь. Страдала семья. Уже после войны, работая в РГУ, я тоже боялся высказывать свои мысли. Я это прямо говорю, не виная. Такая

была сложная обстановка, так мы были запуганы.

И сейчас, я вас очень прошу, не называйте моего имени. И, Боже упаси вас, называть мою фамилию, если вы где-то будете говорить или писать о моих воспоминаниях.

Я вам честно рассказал о том, что видел и слышал. Это, конечно, не все, а лишь часть того, что более всего осталось в памяти. Рассказывал я только о себе, о том, что я видел, чувствовал, чему был свидетелем. Но имя мое называть не надо. Мне уже немного осталось до того времени, когда всех нас — и виновных и невиновных — будет судить история. Вот вы, историки, и разбирайтесь в этом.

ВОСПОМИНАНИЯ М. Е. ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ*

Мы жили как иногородние, бедно. У нас было пятеро детей. В 1929 году мы вступили в колхоз. Работали на разных работах.

В 1932 году после уборки урожая нам на трудодни не выдали ничего. На общем собрании председатель (не помню его фамилии) сказал, что хлеб вывезли государству по хлебозаготовкам, а «ваш хлеб в поле».

У нас ничего не было. Есть было нечего. Собирали лебеду, молочай, крапиву, щавель и ели. Становилось все хуже и хуже. Тут появилась «метла». Они ходили по дворам и искали спрятанный хлеб. Но у нас нечего было искать, на горище висело в чулке несколько жменек фасоли. Они забрали и это. Зимой стало совсем голодно. В декабре умер муж Иван. Мы не могли его отвезти на кладбище, не было сил, хотя оно было рядом. Закопали его в саду, около криницы. Среди людей пошел слух, что в «Хуторке» можно набрать у спиртзавода барды. Мы со старшей девочкой (13 лет) ходили туда и набирали в ведра барды. Там были дра-

ки, голодные люди дрались из-за барды, и мы с трудом ее доставали и ели. В январе и феврале умерли от голода двое детей. Похоронила я их рядом с отцом. Узнала, что в Гулькевичах на сахарном заводе можно достать жому. Я пришла на станцию «Кубанская» и здесь цеплялась на товарные поезда. А с них прогоняли таких пухлых как я. С трудом я добралась до Гулькевичей. Здесь тоже было много пухлых людей, но здесь нас не очень прогоняли. Я набрала, сколько могла, жому в мешок. А с него течет по спине, но привезла домой. А тут уже умирал самый маленький мальчик Вася. Он все просил: «Хлебца, хлебца, хлебца...». (М. Е. горько плачет). В один из дней пришел начальник милиции и сказал, что я должна пойти как понятая в конец улицы. Там женщина зарезала ребенка, и будет обыск. Нужны понятые. Я отказывалась. Тогда он угрозил, что я не подчиняюсь советской власти. Я пошла. Там в хате у женщины

* Переверзева Мария Евтеевна, колхозница колхоза «Армавирская коммуна» села Новокубанского. Запись сделана П. Г. Чернопицким в 1962 году.

милиционеры вытащили из отгороженного в сенцах закутка большой таз, в котором лежали ножки и ручки девочки. Затем вытащили корыто, в котором лежало тело девочки без головы и с разрезанным животиком. Начальник милиции стал бить пухлую женщину. Она закричала и упала. Я страшно испугалась и убежала оттуда. Больше меня не трогали.

Я еще ездила в Гулькевичи за жомом. Когда вернулась, то уже умер еще один мальчик.

Закопала я их всех вместе, в саду.

Остались мы вдвоем со старшей девочкой Дуней. Ранней весной, когда появились почки на деревьях и травка, мы их собирали, мешали с жомом и солью, толкли и ели. Становилось немного легче. В колхоз я больше не пошла. Потом нашелся мужчина, у которого тоже семья умерла от голода. Он работал в «Хуторке». Мы с ним сошлись и живем поныне.

Александр Федорченко

ОТБОЛЕВШЕЕ

Данный отрывок из повести о всемирно известном селекционере П. П. Лукьяненко мне не удалось опубликовать в московском издании (1984 г.), в то время это было делом несбыточным. Он был напечатан в самом начале перестройки в Краснодаре. Теперь по прошествии времени подвиг ученого становится все зримее, и сегодня ясно, что Павел Пантелеймонович посвятил свою жизнь хлебному вопросу, быть может, и оттого, что голод 33-го года коснулся своим черным крылом и его родной семьи и станицы Ивановской. Вот почему его мечтой было — накормить человечество...

По дороге с Сенного базара, проходя по улице Октябрьской в направлении улицы имени Горького, Павел Пантелеймонович непременно оглядывал здание бывшей церкви — памятника жертвам холерной эпидемии, выложенное из красного, теперь уже почерневшего кирпича. Тысячи жизней унесла в те годы страшная азиатская гостья.

Опустели тогда наполовину кубанские станицы. Еще мальчиком он знал всю эту историю по страшным рассказам бабушки Тимофея, да и отец не раз говорил ему об этом...

В то время в Ивановской атаманствовал Савченко. Убыль холерных по станице достигла такой угрожающей цифры, что областное начальство вынуждено было направить туда комиссию с целью выяснить на месте

причину столь высокой смертности.

А дело доходило до того, что погребали по несколько человек в одной могиле. Холерные содержались в некоем подобии больницы. Рядом с больными на полу лежали умирающие, и никому не было до них дела. Молодому казаку, приставленному к ним, было страшно входить в эту комнату — боялся сам заразиться. Ежедневно на кладбище, в той стороне, где закапывали сапных лошадей, хоронили, едва успевая отпевать, по несколько десятков жителей.

Не помогали никакие меры предосторожности — ни присыпание свежих могил известкой, ни обязательное кипячение воды перед употреблением. Беда была еще в том, что жители, боясь пуще холеры «больницы»,

подолгу не сообщали о заболевших родственниках. День ото дня постепенно все большее число заражалось в тесных хатах...

Вот почему всякий раз, идя на Сенной рынок или же возвращаясь с него по Октябрьской улице, он при взгляде на старое и заброшенное здание вспоминал Ивановскую и всю эту печальную историю...

И припомнилась ему страшная повесть брата Василия, когда тот в тридцать третьем получил весточку от отца и из Ростова, где он к тому времени обосновался, бросив работу, пробрался в Ивановскую. Станица была «на черной доске». Пришла пора окончательного сокрушения казачества. Газеты писали о срыве хлебозаготовок на Кубани, трубили об усилении подрывных действий «кулацких элементов».

Василий застал родную станицу, оцепленную частями красноармейцев. Его долго не пускали, пытаясь и сверялись в караульном помещении. Когда наконец навели справки о нем и что его родные — отец, мачеха, оба брата и сестры в живых, пропустили.

Улица, что вела к родному дому, поросла травой выше человеческого роста. Он увидел, что навстречу по еле угадываемой тропке кто-то ковыляет. Человек был огромен, с опухшим лицом. Он еле-еле переставлял непослушные ноги. И Василий разминутся бы с ним, да тот узнал его, и только по голосу Василий догадался, что перед ним его старший брат Николай...

О, тот вечер и последующие два запомнились Василию на всю жизнь. То, о чем поведали ему отец с братом, привело его в ужас. Вымерло полстаницы — выкосил неслыханный голод. Съели все, что было можно. А по дворах шарили и шарили активисты. Они лазили по мертвым горищам, заглядывали в погреба — не утаил бы хозяин гороху, фасоли или кусок свеклы. Хлеб давно выгребли до зернышка.

На кладбище в яму, где когда-то зарывали сапных лошадей, сваливали теперь мертвецов. Даже не прикапывали. Специальная команда за вознаграждение — кормежка в столовой —

разъезжала по станице с железными крючьями. Из боязни заразиться, этими нехитрыми приспособлениями вытаскивали трупы, не заходя в жилище. Бывали случаи, когда сваленные в яму, очнувшись от утренней росы, выползали из места погребения и являлись домой, к ужасу родных и соседей.

— Ты помнишь, Василь, как мы жили еще в старой хате, за лиманом? — спросил Николай? — Как было, когда праздники подступали? Да утром еще лежишь, ставни закрыты, а слышно за бугром мажары скрипят и скоро над самым ухом: «Горшкив! Горшкив!» То макитры привозили на базар, глечики. А теперь, знаешь, что слышим под вечер? И тоже мажара скрипит?! «Мэртвых! Мэртвых!» — кричат. Значит, выноси тех, кто Богу душу отдал, бросай на мажару, а нет — крючками зацепят и бросят на подводу...

Пошли они с отцом наутро, вытребовали у начальства обед — к тому времени для тех, кто выжил, открыли столовую: варили кости, и навар был живительной влагой для истощенных жертв. Отец молча ждал, когда Василий поставит перед ним тарелку с костями, медленно прихлебывал — знал, что немало ушло на тот свет, набросившись после многомесячной голодовки на пищу. Обглоданные кости он аккуратно сложил в носовой платок и сунул в карман. На следующий день Василий уехал в Ростов. Он так и не узнал, что сделал отец с теми костями. Конечно, они не пропали — мачеха рассказывала, как в последнее время спасались они отваром рисовой шелухи...

Эта чудовищная трагедия — неслыханный геноцид против трудового народа стала эхом приезда на Кубань Кагановича, Микояна, Косарева, Ставского. Пантелеймон Тимофеевич знал об этом по рассказам очевидцев. Передавали ему, как в соседнюю Полтавскую ожидали приезда «вождей». На привокзальной площади собрали

- народ. Подошел поезд, выкатили из него

пулеметы, солдаты стали выходить, показался наконец и огромный Каганович.

«Казаки» — орал он, этот очередной выдвигенец, — сдавайте хлеб по-хорошему! Спрятали вы его, знаем, но мы и приехали сюда, чтоб тряхануть вас как следует!» Толпа угрюмо молчала. И тогда кто-то из седобородых казаков крикнул Кагановичу: «А ты не пугай! Мы уже бачили таких, як ты!»

Тот запнулся на полуслове, опешил, но спохватился и продолжил: «Значит, так?! Ну, казаки, пожалеете вы об этом, и очень!»

Лазарь Моисеевич поднялся в вагон. Народ стал потихоньку расходиться.

На следующее утро подогнали пустой эшелон. Всем старым и малым велено было немедленно покинуть жилища и грузиться в вагоны. Так все без исключения жители Полтавской были увезены бог весть куда. Пустую станицу лишили ее исконного названия. Через некоторое время сюда стали поселять отслуживших красноармейцев, да были завезены члены коммуны со Ставрополя. И стала прозываться эта черноморская станица Красноармейской. Да только ли с ней так поступили тогда? Не стало ни Уманской, которую именуют ныне Ленинградской, ни других названий на карте Кубани, как и многих старинных казачьих фамилий. Много миллионов народа не стало с того окаянного времени на юге России, с того времени, когда, по словам стар-

шего брата Николая, «казаков вымаривали»...

А, придя домой, получил очередное письмо от мачехи. «Посылаю я вам привет, Павлуша и Полина, и желаю я вам самых лучших благ. Деньги я получила 17 апреля», — ну и все прочее сообщала о себе Прасковья Емельяновна. Совсем она стала плоха. Да и годы-то какие — за девятый десяток перевалило...

Через год (а шел уже 1959-й) П. П. Лукьяненко получил еще одно письмо из Ивановской от мачехи — на этот раз последнее:

«Добрый день, Павлуша, Полина и Олечка, — писала она. — Передаю я вам свой низкий сердечный поклон. Получила я деньги 14 марта, за которые очень благодарна, не забывай, Павлуша...

Как ваше здоровье, а мое здоровье неважное. Ножечки мои никак ничем не збавлю. Не знаю, что делать с ними.

До свидания. Целую крепко. Мать Лукьяненко».

С этим грустным письмом он уловил себя на том, что все чаще стали являться ему такие дальние теперь годы и ранняя, еще того времени, когда кроме домотканой рубахи он ничего и не знал, жизнь, вернее, крошечные лоскутки той заревой поры, что отшумела, отпела и успокоилась навеки. Что ж, отлетели и теперь никому не надобны ее заботы, и остались всего лишь поминки по ней, светлые и грустные, как все далекое, отболевшее.



ИСТОРИЯ СЕМЬИ КАЗАКОВ

Мой дедушка, Трепачко Мина Сергеевич, родился в 1840 году. Был он казак, ярый хлебороб. Были в хозяйстве у нас лошади, пять коров и птицы много. Дедушка по 15 гектар скашивал ручной косой. Порядок у него был везде, да и не только у него — в каждом дворе. 16 человек нас жило в одной хате. Утром все на молитву, а работать, так работали все. Суббота пришла, работали до обеда. С утра одна женщина остается дома после молитвы: печет, жарит и убирает в комнатах. В два часа заходит дедушка, светит лампы, говорит: «Собирайтесь в церковь вечером». Пусть зерно остается на току, пусть хоть дождь его заливает! Идет он впереди всех в казачьей форме, за ним сыны его, Григорий и Игнат, дети их также все в форме. Мальчикам дает наказ: в церкви стоять смирно, не разговаривать, чтобы о деде никто плохо не подумал.

Умер дедушка 83-х лет, в 1923 году. Бабушка пережила его на год.

Отец мой, Григорий Минович Трепачко, рождения 1889 года, с детства ухаживал за лошадьми и остальным скотом. Началась война в 1914 году с Германией и с Турцией. Его взяли на Турецкий фронт со своей уже подготовленной лошадью. Был он в окружении, рассказывал, что будяки даже ели колючие. Потом приехал на Кавказ к ним Николай Николаевич, дядя царя Николая II, и за три дня пребывания его наши сильно погнали турка. Был отец ранен и награжден. Мне было лет 4 — 5, но помню: на его черкеске, на груди, было что-то приколото. Еще забрали отца и в гражданскую войну. Воевал он и с той и с этой стороны. Остался жив.

Второй сын дедушки, Игнат Минович, был инвалид. У него была выбита рука. Не помню за войну 14-го года, а в гражданскую без раз-

личия брали всех. И его взяли. Рождения он 1887 года. Во время коллективизации в колхоз не пошел. Его забрали в 1933 году как врага народа. На Урале загнали их в завод, 1000 человек, и подпалили. Всех удушили.

Два сына у него было: Иван, рождения 1912 года, на фронте пропал без вести, и Евгений — 1909 года, вернулся с плена. Его осудили в рудник на шахту, и он умер там в 1946 году. Жена его уехала на Украину на место жительства, в Чернигов.

Во время коллективизации отца загоняли в колхоз. Находился он за Новосергиевской, в 25 километрах от Куцевки. Пришли комсоводцы, объявили, что заберут все имущество. Я помню, что они увезли: амбар, крытый железом, и пабаз, укрытый черепицею. Сарай на три доски в длину разобрали, конюшню — на одну доску. Забрали косилку, грабли конские, сеялку, бороны, сажалку, две арбы, а главное — 5 лошадей и 2 коровы. До сих пор в глазах стоит: лошади оторвутся от колхозной привязи — и до порога хозяев. Бегут и ржут. Отца погнали на вокзал разгружать соль в пятипудовых мешках. Он подорвался на них. После, когда забрали все в колхоз, четверых человек назначили на высылку. Это было зимой. Нам объявили: в 12 ночи приедут за нами санками. Что осталось у нас от огорода — буряк, кабаки раздали тем, кого еще не выслали. А крысы нас заедали. Мама, я, брат прилегли заснуть, а отец кнутом по нас стегал, гнал крыс. Они руки у нас грызли. И вот пришло утро, а мы дома. Не приехали за нами. Узнали после, что приехал Калинин Михаил Иванович и предложил начальству сделать на месте высылки бараки, а продукты, одежду при себе люди пусть везут. И оплатить железную дорогу. Вот почему выселение прекратилось. А тех, кого вперед повез-

ли, одежду и питание у них в крайний вагон сложили. Когда люди приехали на место в лес зимой — ни продуктов, ни одежды не оказалось. До сих пор считаю Михаила Ивановича спасителем нашим. Помяни, Господи, его.

Теперь наступил 1933 год. Весной питались сурепой, растениями всякими. Садить — ни денег, ни сил. Отец поступил в колхоз скот пасти. Следили, чтобы молоко не получал и доить ему не разрешали. Отец приспособился из крысиных нор в земле вытаскивать кнутом объединенные качаны кукурузы, которую они заготовили себе на зиму. Штуки три за день вытащит. Примерно с 15-ти качанов налузгает зерна, а мама ночью придет, заберет. Ночью сварим, а утром поедем. Топить нечем. Сколько силы было — ломали заборы. Люди и хаты заброшенные разбирать на дрова стали. Дело дошло до кладбища, что возле школы № 6. Кресты с могил стали снимать. Кто несет крест, идет, упадет — умер. Другой забирает, несет, куда донесет. Не помню, кто людей хоронил, но по улице лежали. Я лично была пухлая. Первые три-четыре дня есть хочется, а потом только спать. Под глазами большие отеки. проколешь их иголкой — стечет вода. Уже концы подходили. Вдруг приходит соседка, приносит килограмма два вареной конины. Режет мне по тоненькому кусочку. И я выжила. Отец от тяжелой соли нажил грыжу. В 1934 году ему сделали операцию. 25 ноября он помер. Мама до 1955 года жила со мной. Тоже померла.

Отцовы сестры поумирали уже после войны. Тетя Ирина поехала с мужем на Кавказ. Восемь человек детей у них было. Двоих в приют сдали, двое померло, она сама померла, а четверо приехало к нам, и тут выросли уже после голода. Вот страшное испытание было, Господи, вот ужас. И дети плакали, что есть хотят. Брат дедушки, Андрей Сергеевич умер с голоду с сыновьями. Три сына у него было. Ни он, ни сыновья в колхоз не пошли. Их в яму кинули в казацкой форме. Всех четверых.

Сравнить сейчас жизнь — чего только нет. Дети, взрослые едят и одеваются, и говорят — плохо. Страшнее нет голода и войны. Это испытание переносили и дети. Уже с четырех лет помню: пойдут по домам то ли красные то ли белые и гонят на площадь, в центр. А там вешать будут и стрелять, так чтобы смотрели. Родители попрячутся, а они детей страшить. И люди были добрые, на смерть сами шли, а спасали беззащитных. Какая любовь была среди соседей. Самим трудно, а помогали друг другу. Одежда была из грубой шерсти, вязали себе кофты, юбки. Полотно для нижнего белья выделывали из конопли. И ее сеяли, и мак, а наркоманов не было. От трех лет до девяности все трудились. А как молились, читали Бога! Ведь Господь и сейчас нас испытывает. И если мы не остановимся, придет судить. Кресты одели, а веры нет. Ведь написано: Силой Честного Животворящего Креста — защити нас, Господи. Мы не просим и не молимся, как же Господь будет миловать нас?

2001 год, ст. Кущевская.

ТРАГЕДИЯ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ НА УКРАИНЕ, СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ

Постановление ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР
от 14 декабря 1932 года

Заслушав доклады секретаря обкома Западной области т. Румянцева, секретаря ЦК КП (б) У Т. Косиора, секретаря Днепропетровского обкома т. Строганова, секретаря Северо-Кавказского крайкома т. Шебблдаева, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:

1. Обязать ЦК КП (б) У и Совнарком УССР, под личную ответственность тт. Косиора и Чубаря, закончить полностью план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933 года.

2. Обязать Северо-Кавказский крайком и крайисполком, под личную ответственность тт. Шебблдаева и Ларина, закончить полностью план заготовок зерновых к 10 — 15 января 1933 г., а подсолнуха к концу января.

3. Обязать обком и облисполком Западной области, под личную ответственность тт. Румянцева и Шелехеса, закончить полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 г. и план заготовок льна к 1 февраля 1933 года.

4. Ввиду того, что в результате крайне слабой работы и отсутствия революционной бдительности ряда местных парторганизаций Украины и Северного Кавказа, в значительной части их районов контрреволюционные элементы — кулаки, бывшие офицеры, петлюровцы, сторонники Кубанской Рады и пр. сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или влиятельных членов правления, счетоводов, кладовщиков, бригадиров у молотилки и т. д., сумели проникнуть в сельсоветы, земорганы, кооперацию и пы-

таются направить работу этих организаций против интересов пролетарского государства и политики партии, пытаются организовать контрреволюционное движение, саботаж хлебозаготовок, саботаж сева, — ЦК ВКП (б) и СНК СССР обязывают ЦК КП (б) У, Севкаврайком, СНК Украины и крайисполком Севкавказья решительно искоренить эти контрреволюционные элементы путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания к наиболее злостным из них.

5. ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейшими врагами партии и рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозаготовок с партбилетами в кармане, организующие обман государства, организующие двурушничество и провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам и врагам советской власти и колхозов, все еще имеющими в кармане партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5 — 10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях — расстрел.

6. ЦК и СНК отмечают, что вместо правильного большевистского проведения национальной политики в ряде районов Украины, украинизация проводилась механически, без учета конкретных особенностей каждого района, без тщательного

подбора большевистских украинских кадров, что облегчило буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и пр. создание своих легальных прикрытий, своих контрреволюционных ячеек и организаций.

7. В особенности ЦК и СНК указывают Северо-Кавказскому крайкому и крайисполкому, что легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская «украинизация» почти половины районов Севкавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией школы и печати со стороны краевых органов дала легальную форму врагам советской власти со стороны кулаков, офицерства, резмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и т. д.

В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их партийных и беспартийных прислужников ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей за исключением действительно преданных соввласти и не замешанных в саботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников и заселить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами, работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых. Ответственность за проведение этого решения (пункт «а») возложить на тт. Ягода, Гамарника (с заменой т. Батулиным), Шеболдаева и Евдокимова.

б) Арестованных изменников партии на Украине, как организаторов саботажа хлебозаготовок,

бывших секретарей районов, предисполкомов, заврайзу, предкрай колхозсоюзов, а именно: Ореховский район — Головина, Пригоду, Паламарчука, Ордельяна, Луценко; Балаклейский район — Хорешко, Ус, Фишмана; Носовский район — Яременко; Кобелякский район — Ляшенко; Больше-Токмакский район — Ленского, Косяченко, Дворника, Зыка, Долгова предать суду, дав им от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях.

в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовки и сева «коммунистов» выселять в северные районы наравне с кулаками.

г) Предложить ЦК КП (б) и СНК Украины обратить серьезное внимание на правильное проведение ее, изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное руководство и контроль за проведением украинизации.

д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов «украинизированных районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский язык, как более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно проверить и улучшить состав работников школ в «украинизированных» районах.

е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской деревни и предоставить тт. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение товарами особо отстающих районов впредь до окончания ими хлебозаготовительного плана.

Председатель СНК Союза ССР
В. Молотов(Скрябин)
Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин
№ П4751

Красноармейская ЗВЕЗДА

Выезжая редакция красно-
армейской газеты партбюро
ВКП(б) №-ского полка
СТ. ПОЛТАВСКАЯ
Красная СГ.

2 января
1933 года
№ 1

В ПОЗОРНОЙ СТАНИЦЕ СОЗДАТЬ большевистские, урожайные КОЛХОЗЫ Домая саботаж, организованный врагами, превратить Полтавскую, в станицу цветущего социалистического земледелия.

Земля на Кубани — сама ро-
дит. При удовлетворительной
обработке, с гектара земли,
озимая пшеница даст урожай
120—150 пудов. Кукуруза—
180—240 пудов.

Но, в станице Полтавской,
на плодородном черноземе, в
прошлом году погибли, зарос-
ли бурьянами, три тысячи

гектаров за явный саботаж сева и
за злостное не выполнение
обязательств перед государ-
ством. В 1932 году, 24 ноября,
станицу Полтавскую занесли
на черную доску сделав ей по-
следнее предупреждение. Из
станицы вывезли товары.

— „Мы прямо опубликовали,
— говорил секретарь Сеп.-Кав.

Теперь колхозы станицы ра-
зрушены. Саботажники, пар-
звты высланы на Полтавской

Сегодня плодородная, че-
ноземная земля передана кол-
хозникам — демобилизованным
красноармейцам. Сегодня он
хозяева станицы. И сегодня
они должны начать больше-
вистскую работу по созданию

Земля на Кубани — сама родит. При удовлет-
ворительной обработке, с гектара земли, озимая
пшеница даст урожай 120 — 150 пудов. Кукуруза-
за — 180 — 240 пудов.

Но в станице Полтавской, на плодородном
черноземе, в прошлом году погибли, заросли бу-
рьянами, три тысячи гектар высокосортной
пшеницы «Украинки». Но станица выполнила
только на 25 процентов хлебозаготовки, сдав го-
сударству всего 6 — 8 пудов с гектара. Какая
сему причина?

Остатки кулачества, охвостья контррево-
люционных элементов, организовали саботаж
хлебозаготовок и сева. Советскую власть пы-

тались прощупать голодом, подрывом кол-
хозов изнутри.

Под влиянием кулацкой агитации на рабо-
ту в поле выходило только одна треть кол-
хозников, была крайне низкая производи-
тельность труда. Хлеб разворовывался, рас-
таскивался, запрятывался в ямы, но не сда-
вался государству. В станице вскрыто 400
ям. Хлеб и по сей час гноится в ямах, еще не
найден полностью.

Партийная организация, станичный совет
шли на поводу у кулака. Эти предатели, аген-
ты кулачья, вместо борьбы с контрреволю-
ционным саботажем, сами являлись провод-

никами саботажа, сами руководили расхищением колхозного урожая. У 15 членов совета обнаружено в ямах скрытый гниющий хлеб. Эти «руководители» действовали вместе с кулаком вместе с контрреволюционными элементами, пролезшими в руководство колхозов.

Краевые организации несколько раз предупреждали станицу. В 1931 году был распущен колхоз «Червонный прапор» за явный саботаж сева и за злостное невыполнение обязательств перед государством. В 1932 году, 24 ноября, станицу Полтавскую занесли на черную доску, сделав ей последнее предупреждение. Из станицы вывезли товары.

— «Мы прямо опубликовали — говорил секретарь Сев.-Кав. Крайкома ВКП (б) Шеболаев, — что, будем высылать в северные края злостных саботажников, кулацких подпевал, не желающих сеять... И сейчас, когда эти остатки кулачества пытаются организовать саботаж, выступают против требований советской власти правильнее отдать плодороднейшую кубанскую землю колхозникам, живущим в малоземелье, на плохих землях в других краях.

Да они не только обработают ее самым лучшим образом, целовать ее будут...»

И все же саботаж в станице продолжался.

Кулачье вело агитацию, успокаивая поддавшихся на кулацкую удочку.

— Та бреш, бреш... Всю станицу не высеят, ховайте хлеб глубже и дальше...

Хлеб ховали, перекапывали поглубже, срывали план осеннего сева.

Можно ли было дальше терпеть паразитов, злостных саботажников на Кубани, поганящих плодородную землю?

Конечно нет.

Мы создали тысячи и тысячи колхозов и

должны добиться, чтобы эти колхозы были нашими колхозами, советскими колхозами, опорой советской власти на селе и в деревне.

Этой опорой колхозы станицы Полтавской не были.

Теперь колхозы станицы распущены. Саботажники, паразиты высланы из Полтавской.

Сегодня плодородная, черноземная земля передана колхозникам — демобилизованным красноармейцам. Сегодня они хозяева станицы. И сегодня они должны начать большевистскую работу по созданию новых, крепких, образцовых колхозов.

Конечно, трудностей будет много.

Но нет таких крепостей, которые не могут взять большевики.

Преданность делу партии, беспощадная непримиримость к агентам классового врага, большевистская напористость и ударный труд — вот во что превратят «бойкотную» позорную станицу Полтавскую — в станицу цветущего социалистического земледелия.

А отсюда и задачи:

Быть классово бдительным. Беспощадно расправляться с малейшими попытками классового врага, который еще попытается вести подрывную работу.

Показать образцы трудового энтузиазма. Показать как нужно обрабатывать колхозные поля, как укреплять колхозы, как получать стопятидесятипудовые урожаи.

Во вторую пятилетку станица Полтавская начала новую жизнь.

А строителями этой новой социалистической жизни являетесь вы, лучшие ударники красноармейских частей.

И ваша задача — под руководством партии создать в станице лучшие образцовые большевистские колхозы на Кубани. Слово и дело за вами, товарищи, бойцы, колхозники.

Когда прикасаешься к тому времени, слушаешь воспоминания тех лет, видишь слезы в глазах пожилых людей, их натруженные руки, то невольно думаешь: за что им все это? Неужели они не заслужили лучшей доли? Ведь многие до сих пор боятся рассказывать о начале 30-х. Одни жалуются на плохую память, другие молча складывают пальцы решеткой: вот, мол, что за это может быть, а третьи вообще не общаются с чужими. Но все же мне удалось найти людей, рассказавших правду о высылке и голоде на Кубани. Несколько лет периодически я встречалась с ними. Сейчас уже многие ушли из жизни, но вот их рассказы остались, чтобы мы хранили свою историю, какой бы горькой она не была.

Вот некоторые из воспоминаний...

А.Г. Косенко,
директор Полтавского музея истории

Борох Иван Денисович,
1917 г. рождения, ст. Полтавская

В декабре 1932 года начались аресты мужского населения станицы Полтавской. Приехал Коганович, собрали станичный сход, на котором распустили совет станицы и партийный комитет. Станица была занесена на так называемую «черную доску», был введен комендантский час, из приезжих назначили комендантом Кабаева, а начальником политотдела — Касилова. Станицу Полтавскую разбили на тринадцать кварталов, в каждом квартале был создан комитет содействия (комсод), которому был спущен план по количеству высылаемых семей. Были случаи высылки и иногородних семей, так как не хватало казачьих, чтобы выполнить план высылки. Так пострадала семья Гусько Поликарпа, он сапожничал, земли не имел, зато имел четверых малолетних детей, все попали под высылку.

В начале 1934 года стали прибывать семьи красноармейцев, лучшие дома отдавались им, оставшихся коренных жителей переселили без их желания на одну улицу, а затем они были организованы в один колхоз (лишь одна бригада в этом колхозе была из красноармейцев — «для пригляда за казачьим кулачем» — так говорили сами красноармейцы). Этот колхоз называли именем Шеболдаева (тогдашний секретарь обкома партии, в 1937 г. расстрелян). В станице было организовано еще пять колхозов

из иногородних: им. Балецкого, им. Ворошилова, им. Дзержинского, «Московский пролетарий», им. XVII партсъезда. Члены правления колхоза им. Шеболдаева, т. е., коренные жители ощущали на себе притеснения вплоть до начала Великой Отечественной войны. Например, в 1937 году был хороший урожай, на трудодень дали 3 кг хлеба в колхозе им. Шеболдаева, в то время как в других колхозах люди получили по 10 — 12 кг на трудодень. Не говоря уже о враждебности новоселов-красноармейцев, их заведомо настроили против коренного населения, против казаков, а фактически их в станице и не осталось.

Глазкова Анастасия Михайловна,
1914 г. рождения, ст. Полтавская

Перед высылкой помнит «бабий бунт» в станице Полтавской, как женщины собирались на базарной площади и пытались бороться с представителями власти (был побит милиционер Задорожный), это где-то в 1928 — 29 году.

Затем начались сильные налоги, от которых стало невогнать. Начали отказываться платить и сдавать зерно. Пришла высылка. Мама Глазковой (Слупчинская) воевала у красных, ее не тронули, зато выслали ее брата, сестру, мать. Дедушка был расстрелян еще в 20-е годы красными. Помнит тяжелый ручной труд в колхозе и мизерную плату за этот труд. Помнит страх, как прятали старые фотографии и документы,

и они сгорели в конечном итоге в печи (позабыли их оттуда вытащить после лета).

Сафронова Нина Евдокимовна,
1926 г. рождения, ст. Полтавская

Отец был казаком, в семье — 12 детей, большого достатка не было никогда. В конце 20-х годов начали строить оросительные системы, и отец ушел на строительство, неделями не бывал дома, попал в больницу и там умер. В 1932 году семье объявили о высылке за то, что мама Нины Евдокимовны не вступает в колхоз. Детей уже погрузили в вагон, а затем отпустили с тем, чтобы они покинули станицу в 24 часа. В конечном итоге многие дети умерли от голода, мыкаясь по чужим дворам. Мама стала сходить с ума и тоже погибла, а Нина Евдокимовна попала в Полтавский детский дом, осталась жива.

Дерновский Николай Васильевич,
1929 г. рождения, ст. Полтавская.

Несмотря на то, что Дерновский Василий Григорьевич был членом правления колхоза, в 1932 г. вся семья с тремя малолетними детьми (1925, 1927 и 1929 годов рождения) была выслана в Пермскую область как кулацкая семья. Василий Григорьевич был арестован и отбывал наказание более пяти лет отдельно от семьи. Затем его посчитали уже не жильцом и отпустили умирать к семье на поселение. Весил он в это время 38 килограммов, но судьба смилостивилась над ним, и Василий Григорьевич выжил. Вернулись назад, на Кубань, лишь в 1947 году, но в ст. Полтавской им жить не разрешили, поселились в поселке Элитном.



Изъятие хлеба из тайника, 1932 г.

Хмелева Евдокия Егоровна,
1917 г. рождения, ст. Полтавская.

Семья была бедной, отец батрачил, но считались казаками, и поэтому, когда началась высылка, их фамилию занесли в списки высылаемых. В это время мама Евдокии Егоровны была замужем вторично (т. к. первый муж погиб в гражданскую), и этот второй муж выкрал карточку с их фамилиями из стансовета. Семья осталась в станице, но когда приехали плановые переселенцы-красноармейцы, их выгнали из хаты, пришлось роди-

телям перевозить детей на тачке на окраину станицы, в пустующую хатку— завалюшку. В это время Евдокия Егоровна только переболела тифом, она не могла стоять на ногах. Перед этим помнит, как лежала в больнице, как подвергся репрессиям врач Шкиль Лука Титович и все медсестры. Больных выгнали из здания больницы, чтобы шли по домам. Но Евдокия не могла идти сама, она сидела на морозе у стены больницы, пока за ней не пришли родные. Многие так и замерзли у стен больницы, не дождавшись помощи. Помнят



Комсомольский продотряд по изъятию зерна, ст. Абинская, 1930 г.

высланные семьи Литвин, Линских, Бесчастных, у всех было много маленьких детей. Стоял стон и плач на вокзале ст. Полтавской, когда людей грузили в вагоны, доносилось звание «Прощай, Кубань, ты наша родина», когда вагоны тронулись со станции.

Телегин Николай Акимович,
1923 г. рождения, ст. Полтавская
Даже в фамилии появилось окончание -ин,

чтобы не напоминать лишний раз о казачьих корнях Телеги. Семья вступила в колхоз, но это их не спасло, ведь были потомственными казаками. Их выслали в Нижний Тагил, два старших брата сгинули в ссылке, отца расстреляли сразу, еще на Кубани. Очень много горя и лишений пришлось испытать семье Телеги. Вернулись на родину лишь в 1964 году. До сих пор нет никаких сведений о погибших родных.



Жители ст. Родниковской сводят скот на общий двор после записи в колхоз, 1929 г.

Селезнева Зоя Степановна,
ст. Полтавская

В 1932 году она была маленькой девочкой, но мама часто ей рассказывала, как сразу после высылки появилось много бездомных детей. Люди, увидев колючую проволоку на «телячьих вагонах» и охрану с винтовками, решались на крайние меры — старались оставить детей. Были случаи, что грудных младенцев находили вдоль железной дороги, их выбрасывали из вагонов, пока поезд не набрал скорость, в надежде, что на родине они выживут вернее, чем в тех далеких краях, куда везли высылаемых. Власти были вынуждены организовать детский дом, который просуществовал несколько лет, до конца 30-х годов.

Белик Аким Митрофанович,
1913 г. рождения,
ст. Старонижестеблиевская.

В станице Старонижестеблиевской не было таких массовых высылков, как в Полтавской, но, все равно, волну репрессий он запомнил на всю жизнь. Могли выслать, если живешь в кирпичном доме, если есть две коровы, даже по навету соседей могли подвергнуть репрессиям. Таким образом попал под высылку знаменитый на всю округу садовод И. Н. Стеблина. Благодаря его трудолюбию станица утопала в садах, деревья остались, а садовода выслали. Доходило до того, что воровали маленьких детей, люди сходили с ума. Ангелинский ерик был буквально перерыт. По дну несколько раз люди искали съедобный корень чакана. По станице ездила погребальная телега и собирала умерших. Были случаи, что на телегу грузили и живых еще, но очень слабых людей, думали, что пока доедут до кладбищенского рва, то человека не станет. Но произошел такой случай. По улице Казачьей погрузили молодого парня Трояна, привезли на кладбище, выгрузили свой страшный груз, уехали. А парень вечером очнулся среди мертвых тел, смог выползти оттуда и остался жив. Но такие случаи единичны.

Шатько Олег Васильевич,
1926 г. рождения.

В станицу Полтавскую переехал в 1932 году вместе с родителями, помнит страшный голод 1933 года. Совсем плохо было одиночкам, а членам колхоза выдавали продовольственный паек в виде горячей затирухи или горсточки муки пополам с отрубями. Подростки ходили за станицу за съедобной травой, приносили ее в столовую, а им за это давали по кусочку хлеба (из кукурузной муки) и стакану морса. Но чувство голода было постоянным спутником всех детей. Часто было съедобным все, что попадалось на глаза, были случаи отравлений, и многие болели животом.

Орехов Степан Григорьевич,
1909 г. рождения,
переселенец-красноармеец.

Служил в Ленинградской области, вызвали в войсковую часть, предложили переселиться на Кубань, согласился. В Ростове встретили вагоны с высылаемыми кубанцами, видели, как бедствуют маленькие дети, их матери, но помощи им никто не оказывал — кулаки, враги. Помнит, какая разруха была в станице, собаки одичали без хозяев, скот бегал без привязи, много было умерших животных, ведь начался голод, сложно было привыкать к другому климату, к иным условиям быта. Из-за неумения ухаживать и для топки домов многие сады вырубili. Но постепенно жизнь стала налаживаться, время лечит даже самые глубокие раны.

В 1937 году стали организовывать велопробег в Москву. Участники этого пробега, в основном все из переселенцев-красноармейцев, вдруг были обвинены в организации банды, готовившей покушение на Сталина. Они были арестованы, их быстро судили и приводили приговор в исполнение, зачастую это был расстрел, некоторые попали в лагеря, а затем во время Великой Отечественной войны — в штрафные батальоны.

К сожалению, фрагменты сохранившихся писем красноармейцев анонимны. Но, может, это и к лучшему? Зачем звать к покаянию потомков за грехи их отцов и дедов?

Идешь по улице станицы — заборы и стены, все исписано лозунгами. Сейчас станицу никак не отличишь от 17 — 18 годов: аресты, ссылки, обыски. Это началось с того, что казачество, большинство зажиточное, из этой станицы во время революции было оплотом белозеленых банд, и они, т. е. кулачье, взяли в свои лапы власть советов и партийную организацию, объявили хлебный бойкот Советской власти — все виды заготовок выполнены на 7 процентов. Пшеница, которую сняли для того, чтобы не сдавать, ссыпали в колодцы, зарывали в землю. В общем, полная контрреволюция. Вот партия нас послала как коммунистов для ликвидации и устранения этого саботажа. Мы за несколько дней нашли 475 ям с пшеницей, отобрали 1280 сабель, 50 пик, около 200 винтовок, 700 наганов и десятки ящиков патронов различных систем. За это станицу выслали на Соловки — 2250 семей, или 12500 человек, порядочное количество казаков уже расстреляли, и много подлежит расстрелу... Станица Полтавская на военном положении. Без разрешения коменданта, без пропуска из станицы не выпускают. До 12 января хождение по улицам до 10 часов вечера, попавшие позднее 10 часов — отправляются к коменданту (вообще красота — кто не понимает)...

Я попал туда, куда мечтал давно. Вот тут и есть, как мне кажется, самая настоящая жизнь... Если пожелаете работать и пить виноградное вино, то просим, пожалуйста.

Село такое, как наш город, даже еще больше. Земли столь много, что не охватишь и глазом, ровно, земля черная и никакого удобре-

ния и навоза не требуется. Квартира хорошая, огород большой, очень хорошие сады. В избе у нас русская печь, топим дубовыми дровами.

В нашем доме было оставлено три стола, койка деревянная, комод для белья, шкафчик для посуды, хорошая собака, кошка, скамеек четыре штуки — не такие, как у нас, а лучше.

Нам рассказали, что кулаки разложили колхозы... Мы будем зорко глядеть, там еще кое-где в дырках засели кулаки, всех повытравили. Мы знаем колхозную работу. До Красной армии тоже в колхозе были. Знаем поганую работу кулака. Нас не возьмешь просто, мы кое-чему научились еще и в Красной Армии...

Чувствую, что в работе произошел большой перелом. Работал ведь я и до армии, но теперь появилась какая-то решительность, самоуверенность в начатом деле, в его победе и твердости, которой не хватало. Красная армия на 100 процентов ворочает человека.

Я решил вас покинуть из-за своей паскудной семьи, которая отказалась приехать ко мне в колхоз на новую форму жизни. Но, дорогие товарищи, в виду ихних престарелых годов я не смогу их бросить на произвол судьбы, т. к. они меня вырастили до совершенствующих годов. А самое главное, я не намерен бросить жену и малого ребенка, который еще нуждается в отцовском воспитании. Я решил вас покинуть, т. е., сделаться врагом социализма на сегодняшний день, еще раз повторяю, что только на сегодняшний день. А в дальнейшем, т. е., по приезде в свой полк, я тоже буду строителем социализма, так же как вы.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА *
НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ СКВО
С. КОЖЕВНИКОВА НАЧАЛЬНИКУ ПУ РККА Я. Б. ГАМАРНИКУ
О НАСТРОЕНИЯХ И РАБОТЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

№ 0048

13 апреля 1933
Сов. Секретно.

Станица Красноармейская была первая станица в крае, в которую были вселены красноармейцы. Первые партии людей стали прибывать еще в конце декабря прошлого года. Вселение проходило в течение всего января месяца. Люди пребывали без семей, и основная задача впоследствии заключалась в том, чтобы как можно скорее перебросить семьи в станицу. Основная масса семей уже перебросена, но до сих пор еще продолжают прибывать семьи (отдельными мелкими партиями).

Лишь тогда, когда приезжала семья, то можно считать, что данный красноармеец крепко устроился и никуда не уедет. Вначале наблюдались отдельные явления, когда красноармеец приезжал, осматривался и заявлял, чтобы его отправляли обратно — «не нравится».

Из этой группы людей некоторых можно было уговорить, и они оставались, но часть из них все же сбежала. Дезертировавших за все это время насчитывается до 40 человек, главным образом, за счет красноармейцев-пограничников.

Но имеется довольно большое количество и таких (около 150 человек), которые написали своим семьям, чтобы не приезжали (очевидно, при вербовке в отдельных частях был допущен казенный бюрократический подход, не

разъяснили — зачем, куда едут, не были подобраны действительно лучшие, наиболее устойчивые люди), в надежде — раз не приедет семья, значит, меня осенью отправят, сумею уйти (срок службы закончится и «буду вольным гражданином», это из числа досрочно демобилизованных).

Можно считать, что к осени из этого числа отсеется. В каждом отдельном случае, как только получили извещение, что семья такого-то не хочет переезжать — мы сразу сообщали станичному парткому и правлению колхоза, чтобы с этим народом они провели соответствующую работу, чтобы закрепить его.

Сейчас в станице имеется 2300 красноармейских хозяйств, при чем есть красноармейцы, которые перетасили сюда до 12 человек членов семей.

На днях я лично был в этой станице.

Настроение у народа хорошее, главным образом, у самих красноармейцев. Работают с подъемом и толково. Сумели поставить на ноги коня (до безобразия запущенного, «смертников»). Нужно сказать, что основная масса красноармейцев несомненно осела. Взрослые все в поле (мужчины, главным образом, ночуют там). Старики

* Докладная записка была направлена Гамарником К. Е. Ворошилову 13 апреля 1933 года. На документе имеется помета Ворошилова о прочтении.

ходят с молотками и топорами и подбивают гвозди, чинят, приводят в порядок свое усадьбное хозяйство. Женщины, ребятишки по садам копошатся — подрезают сучья, обкапывают деревья, очищают запущенные усадьбы.

Вот это такое хозяйственное настроение является самым отрядным явлением, оно говорит о том, что люди хотят закрепиться и жить по-хозяйски.

С питанием людей дело обстоит удовлетворительно. Глава семьи получает 800 граммов, а члены семьи до 400 хлеба в день. Хуже с жирами и крупами — их мало, овощей не хватает. Получили наряд на 60 тонн картофеля (из Воронежа), но пока его нет. Есть недоедание детей, т. к. МТФ не может обеспечить всех детей достаточным количеством молока.

О взаимоотношениях с местным населением.

В станице Красноармейской и в окружающих станицах казаков осталось мало. В самой Красноармейской осталась коммуна им. Фрунзе. Казачья часть этой коммуны также сильно «разбавлена», но, тем не менее, имеются случаи поджогов, побоев, воровства, даже грабежа со стороны местного коренного населения. Нужно сказать, что переселенцы боятся казаков. Народ требует, чтобы им выдали кое-какое оружие.

Со своей стороны считаю, что оружие дать им нужно, и прошу вашего разрешения выдать им кое-что из забракованного оружия (винтовки ГРА, короткоствольные и т. д.) для самообороны.

Главное и основное теперь — это улучшить бытовое положение красноармейцев и их семей. Все, что можно будет сделать в крае — сделаем, но в разрешении этого вопроса потребуется соответствующая поддержка также со стороны центра.

Начальник полит. Управления СКВО
С. Кожевников

ВО ИМЯ ЧЕГО ?..

Наши бессудные высылки сотен, тысяч людей из ст. Полтавской начались в 1929 году. В этом году отправили на Урал в числе других и семью маминого брата Завгороднего Егора Михайловича. В основном выселяли за то, что не хотели вступать в колхозы, не сдали до последней капли хлеб (по продразверстке, по налогу, по твердому обложению и еще по многим названиям налогов) и за то, что был поднят мятеж женщин в 1930 году против насилия. Моя мать вспоминала так.

Утром (не помню точной даты, но, по-моему, весной) женщины бегали и стучали в окна каждой хаты, чтобы бабы выходили с рогачами (ухват), кочергами, будут выступать против приехавшего агитатора за колхоз. Дикая «бита» состоялась, за что на этой же неделе были высланы почти все жители станицы без суда и следствия. Высылка была такова, как в кино «Хлеб — имя существительное». Все были многосемейные: от трех до восьми детей — мал мала меньше. У нашей матери, Вакуленко Евдокии Михайловны, было четверо детей: старший с 1926 г., а младшая с 30 г., а в середине еще две сестры — Галя с 1927 г., Уля с 1929 г. Что могла взять с собою в дорогу эта мать, кроме детей? На станции посадили в телячьи вагоны и повезли на Урал. Ехали долго. В Свердловске рассортировали: кого в Серов, Надеждинск, Березняки, Алапаевский район, мы попали в болота Верхотурского района. Привезли в барак без окон, без дверей, сырость, гнус заедал, все семьи кучками расположились у стен. И продолжалась «наша счастливая жизнь».

Нас перебрасывали из одного болота в другое больше трех месяцев, а затем больше трех месяцев на одном месте жить не разрешали «врагам народа». У местных жителей вырабатывалось презрение к «спецам». В нас могли

плевать, кидать камнями, не пускать в дом обогреться в сорокаградусный мороз, короче — к животным так не относились. Голод, болезни, вши делали свое черное дело. Мать была на лесоповале, лесосплаве (в холодной весенней воде гоняли плоты по пояс в воде), а мы находились в каких-то общественных учреждениях. В 1934 году брату надо было идти в первый класс, а он ходил по деревням и просил милостыню. Шел мимо школы с конской ногой с подковой (от колена до подковы) на плечах, его учитель так и завел в класс, а он хотел есть. Жили в деревне Пурегова, Молва, в Сосьву ходили за милостыней (все это в Н-Саадинском районе Свердловской области). В 1933 году начался мор людей, умирали на ходу, как мухи, а у живых еще не хватало сил их вытащить из дома. Звали соседей: 4 — 5 человек одного покойника выволакивали на зава-linkу, а то и так: приходили с работы и ложились на ту кровать, где лежал покойный: страха не было.

Я помню, как однажды (1934 г.) мама принесла мне горсть горошка с червями зелеными, и какая это была для меня радость. Я очень мало помню об учреждении, в котором мы, дети, жили; только помню, что мы все спали на полу вдоль стен, а у двери стоял большой казан — наш туалет. В 1936 году нас ночью везли на станцию Пролетарская Верхотурского района. Работала мама на лесопильном заводе, таскала тес (сортировала). Две семьи жили в одной комнате. Голод, холод, вши — наши ежедневные спутники. Брат заболел трахомой, скосило ему глаза, потом — менингитом, разбил его паралич. О том, чтобы его лечить, не было и речи. И так с 1937-го он стал инвалидом, к тому же прицепилась «пляска святого Витта», по-народному — припадки. Пропал человек. На Пролетарском жили в бараке, юти-

лись в углу, как кутята, а на противоположной стене показывали кино. Спала я и в клетке кроличьей. В 1936 г. сестры Галя и Уля пошли в другую часть поселка, где жили вольные, местные, при переходе через железнодорожное полотно их закидали камнями мальчишки из местных. Галя побежала обратно по дороге, а Уля — по полотну, и ее зарезал поезд (отрезал голову). Она не могла подняться на насыпь, не было сил. Никому в вину не поставили: «так и надо «спецам». И я в старости задаю себе вопрос: в чем же виноват тот семилетний ребенок и перед кем? А Галя от страха была немая целый месяц. Старшая сестра с семи лет ходила по нянькам, зарабатывала себе кусок хлеба. Вот как я не умерла, а была вся стать — видно, не судьба. В 1938 году забрали отца в тюрьму, осудили на десять лет как пособника Ежова, о котором он услышал только в тюрьме, когда заставляли подписывать протокол под штыками (об этом рассказывал Федоров Н., сидевший вместе с моим отцом, который был отпущен, просидев три года). Отец сидел в тюрьме Н. Тагила, строили металлургический завод, затем Кандалакшский, Беломоро-Балтийский каналы. Война его застала под Воркутой: прокладывали железную дорогу к Москве для доставки бурого угля. Умер он в 1944 году в лазарете, от голода. Мы находились под комендатурой до 1953 года (до смерти Сталина). Без разрешения коменданта не могли выезжать даже в Свердловск. Местным не разрешали брать в жены «спецов» и наоборот.

Когда в 1938 году нас привезли на Басьяковское торфопредприятие Н-Салдинского района (а приехали все женщины с большим количеством детей), начальник и картуз надвинул на лоб. А вот когда они поработали, он и картуз поднял вверх. Все эти женщины — великие работяги, у них в бараках ждали их дети, как голодные галчата смотрели в глаза матерей, а те приходили с работы и сами голодные, что они могли дать? И прежде всего начинали кипятить воду, чтобы голод обмануть водой. Я

была «рахит»: большой живот от воды и кривые ноги. Летом мы паслись, как козы: ели всю траву подряд, а вот зимой, «кроме снега и мороза», ничего. Страшно! Холодно! Голодно! Дома заставляла мать надевать на веревочке алюминиевый крест, а в школе учительница приказывала снимать. Помню, в 1939 г. во втором классе я участвовала в монтаже (тогда они были модными в школах к праздникам): стояла в лаптях, голодная, вшивая, а говорила: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Мы жили в поселке, который со всех сторон был окружен болотами, и выход (7 км) в одну сторону к центральному поселку, так что, комендатуры никак не миновать, да мы и не пытались, нигде и никто нас не ждал даже с куском ржаного хлеба. Когда нас выслали в 1930 году, в доме остался один старый дедушка, который вскоре помер от одиночества и голода.

Нас, детей, преследовали за то, что сделали или не сделали наши отцы. Нам давали паспорта (по совершеннолетию) вначале на 3 месяца, а с 1950 года стали давать на 6 месяцев. После этого срока мы их меняли, назывались — временные документы. И помнить все страшно, и забыть нельзя. Я окончила Н-Тагильское педучилище в 1950 г. и была направлена работать в село, так как на точку с почтовым ящиком мне не разрешили — «враг народа».

Работала я на совесть, старалась воспитывать добро, справедливость, дружбу, коллективизм, трудолюбие. Но и начиная свою трудовую деятельность, я жила впроголодь, не говоря о годах голодных, когда училась. Голод во время войны: все понимали — надо помогать в борьбе против врага. Мы боялись говорить, а только «пахали», как лошади и на государство, и на начальника поселка за кусок хлеба, и на фельдшера, чтобы помазал палец йодом, и на всех. Но иногда мама говорила, что тяжело сейчас жить, но дома, на родине они работали гораздо больше: все двадцать часов.

Батраков не держали, все делали сами: пахали, убирали, за скотом ухаживали.

И что первое она купила, когда старшие дети стали работать, корову-кормилицу. И старшей сестре говорила: «Держи корову, она тебя прокормит в лихую годину». В ее лице пропал хороший, даже отличный ветеринар или зоотехник: она прекрасно знает, что дать корове на зубок и что положить под хвостик.

В 1953 году, летом, мама с сыном-инвалидом и семьей старшей дочери выехали в Хадыженск, хоть не родное пепелище, а все же родина. А я осталась на Урале, так как муж был уралец. А всякому кулику свое болото лучше всех. Приезжала в Хадыженск на лето во время каникул. И вот в 1970 году решила съездить посмотреть свою станицу, где я родилась. Проехала поворот на Красноармейскую, походила по Славянску-на-Кубани, побывала у реки Кубань, побывала на рынке, о котором рассказывала мама, она часто там продавала свою сельскохозяйственную продукцию — ничего меня не волновало и не трогало за душу, я лучше думала о земляках. А потом я поняла, что все вытравлено в душе у меня: свое прошлое, свое горе, и вышло, что все мы без вины виноватые.

У меня нет чувства любви к тому месту, где я родилась (была слишком мала, в 3 месяца меня увезли отсюда), а любить те места, где мы гнили в болотах, где нас заедал гнус, где мы пухли от голода, где смерть смотрела нам в

глаза, где вшей из-за пазухи доставали горстями, где ели траву (а однажды мама поймала ворону и, и мы ее съели). Где у соседей мать замесила последние сто граммов муки с сухими листьями липы, испекла лепешки, дала семерым детям, а ночью повесилась, потому что не могла больше видеть эти голодные глаза детей и не могла им завтра ничего дать, где мой брат стал инвалидом и закончил свою жизнь в лазарете в станице Удобной Отрадненского района Краснодарского края, где сестра осталась с больными ногами (синие, с ранами до колен), а у меня с 35 лет болит печень, больной желудок, а теперь еще сердечно-сосудистое заболевание. Поэтому любить этот уральский край я не могу. Зачем же, во имя чего было обрекать нас, невинных на бессмысленную, мученическую жизнь, превращать во врагов своего Отечества. И длилось все это не один год и даже не одно десятилетие.

Писать о нашем существовании можно много. «Воспитывали» из нас граждан послушных, ни в чем не сомневающих, не интересующихся прошлым, не склонных к анализу настоящего. Все грозило тюрьмой, а что мы в ней жили, только не за стенами, а окруженные болотными топями — не понимали.

Писать об этом очень трудно. Подсознательный страх жив еще и сейчас, но я твержу себе одно: «Я — одна, и мне скоро на «покой», так что не бойся!» Может быть, кому-то это и пригодится.



.

НЕТ ПРОЩЕНИЯ!

*А. А. Дейневич,
директор средней школы
ст. Новодеревянковская Каневского района*

С ноября 1932 по январь 1933 г. решениями Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) на «черную доску» было занесено 15 станиц — 2 донских (Мешковская, Боковская), и 13 кубанских: Новорождественская, Темиргоевская, Медведовская, Полтавская, Незамаевская, Уманская, Ладожская, Урупская, Стародеревянковская и Новодеревянковская (обе 26 декабря 1932 г.), Старокорсунская, Старощербиновская и Платнировская.

Из станиц Полтавской, Медведовской и Урупской были выселены в Сибирь все жители — 45.639 человек. Уманская, Урупская, и Полтавская были лишены своих исторических названий и переименованы в Ленинградскую, Советскую и Красноармейскую (постановлением главы администрации края Е. Харитонova в октябре 1994 года станице Полтавской возвращено ее прежнее имя). Кроме попавших на «черные доски» станиц, всякая торговля была прекращена в девяти районах края из десяти; было приказано полностью вывезти все товары. Карательные акции прокатились по многим станицам. Так, специальная карательная экспедиция из трех отрядов особого назначения (латыши, мадьяры и китайцы — все кавалеры ордена Красного Знамени) только в Тихорецкой на станичной площади за три дня расстреляла около 600 пожилых казаков!..

Уничтожая людей, злодеи хотели уничтожить саму память о них: места братских захоронений (ямы, глиняные карьеры) никак не обозначались. Книги записей рождений и смертей уничтожались.

Осенью 1990 года в станице Шкуринской был открыт первый на Кубани памятник голодомору. В печати появились публикации и свидетельства, а в Краснодаре в январе 1994 года состоялась научная конференция, посвященная голодомору 1932 — 1933 гг., участники которой приняли решение о выпуске Кубанской Книги Скорби с воспоминаниями и фамилиями погибших, об установлении памятника умершим от голода и о розыске братских могил в станицах края. Решением этой благородной задачи должны заняться краеведы, работники музеев да, наверное, и все честные люди.

ЧЕРНЫЕ ДОСКИ

Не вполне ясные слова — «голодомор», «саботаж» — мне были известны давно. Бессознательно они воспринимались как что-то страшное, полузапретное в разговоре вне дома. Чаще всего поминал их мой дядя, Петр Михайлович Андриункин — у него я всегда жил, приезжая летом в станицу.

Наша Новодеревянковская была включена коммунистами в 1932 г. в число обреченных на вымирание. Сегодня, если вы походите по ее улицам, бросится в глаза на первый взгляд непонятная планировка: где дома стоят тесно, один рядом с другим, а где от одного до другого и сто, и двести метров, поросших бурьяном — проклятой амброзией. Особенно велики пустыри, прогалы застройки в историческом центре станицы. Здесь тоже стояли дома, жили люди. Они исчезли — целые кварталы. Целые семьи, фамилии. Исчезли хозяева.

Сегодня в Новодеревянковской, вместе с хуторами, — около восьми тысяч человек. Это меньше половины от числа живших только в одной станице в 20-е годы. Да и то, — сколько из нынешних станичников казацкого рода-племени? Официальная статистика не выделяла их прежде отдельной строкой в переписи, и можно лишь предположить, что не слишком-то уж много. Зато по числу жителей после русских и украинцев в станице идут армяне, белорусы, мари, цыгане, мордва, чуваш, молдаване, езиды, удмурты, табасаранцы (и остальных еще десяти этносов — не менее 25 человек от каждого). Такая вот «козацкая» станица. О каком знании истории края и казачества тут говорить...

Следствие заселения опустевшей после голодомора станицы чужаками — культура и традиции, самое название ее стало исчезать из обихода. Местные все чаще называют ее «Новая Деревня», так она и в автобусном расписании значится уже. Вот и старики, сначала

считавшие такое «переименование» оскорблением, кажется, смирились. Да и сколько их осталось-то — тех, кто помнит подлинную станичную жизнь и последующие страшные годы?

Построенный в 1896 — 1900 гг. станичный храм Св. Николая Чудотворца — самый большой на Кубани, не считая войскового собора в Екатеринодаре. Его взорвали в 1938 году. Теперь на этом месте парк с неработающим загаженным фонтаном, рядом, конечно, памятник Ленину, танцплощадка, неработающие аттракционы. Недалеко, через дорогу, разрушается бывшее станичное правление — остались одни стены. Рядом — школа, отстроенная из кирпича взорванного храма...

За парком — здание бывшего Станичного банка (ссудно-сберегательного товарищества), построенного моим прадедом, Григорием Кирилловичем Кокунько, в 1910 г. Наша семья жила неподалеку. На крыльце банка прадед и был убит красными в их первое появление в станице — за то, что не отдал ключи от сейфа с казачьими деньгами. Здесь сейчас спортивный, актовый зал. Рядом со зданием — пустота. Исчезнувшие кварталы...

Еще дальше — снова парк, посреди которого большой Дом культуры на месте уничтоженного старого кладбища, где упокоились многие основатели и коренные жители станицы. Где-то здесь лежат мои предки и родичи — если, конечно, их кости не выгребли экскаватором...

Перед бывшим училищем для иногородних стоял до 35-го года первый, еще деревянный станичный храм Рождества Богородицы (1830 г.); подле него были захоронены родные известного кубанского ученого и историка Ф. А. Щербины.

Стараниями директора школы А. Дейневича здесь теперь установлен камень — памятный знак к 150-летию со дня рождения Федора Андреевича...

Помню, дядя просыпался по ночам. Загорался свет, он что-то спешил записать в тон-

кую тетрадку в клеточку. Утром рассказывал, что вспомнил — из рассказов ли бабушки, Зинаиды Кирилловны Кокунько, о начале станицы, или что сам видел. Если бы не он, я бы никогда, наверное, не мог сказать про Новодеревянковскую — «наша станица». Ведь ни дед, ни его сестра Клавдия Григорьевна (умершая в 1985 г.) не могли просто еще говорить — как убили их отца, как они ушли к белым... Они и фотографии-то никому не показывали казачьи, даже моему отцу. Время было такое...

Илья Дмитриевич ВАРИВОДА,
1908 г. рождения

И Я МОГ БЫ СТАТЬ «ВРАГОМ НАРОДА»

С 1932 года я руководил бюро комсомольской ячейки. 12 секретарей у меня было колхозных и 415 комсомольцев. В 1932 году вышло постановление ЦК ВКП (б) о создании при МТС политотделов. А все такие постановления мы прорабатывали. Вот собрались в нардоме,



Сын станичного атамана М. Г. Лукаш (слева) со станичным товарищем
М. С. Лещенко, ст. Каневская, 1929г. (Из альбома И. Рюминой)

вдруг открывается дверь, и входят четыре человека. Представительный мужчина в зеленой английского сукна шинели с каракулевым воротником и в серой высокой каракулевой шапке — как генерал, другой просто в шинели и фуражке, третий, низенький, в чекистской форме и фуражке НКВД, а четвертый — молодой парень в черном пальтишке и кепочке. «Генерал» обратился ко мне: «Так, чем занимаетесь?» Я ответил, что изучаю постановление. Он поднял палец: «Во! То, что нужно. Так вот, я — начальник политотдела Зайцев, а это мои заместители: майор Никипелов — зам. по партийной линии, оперуполномоченный Прокофьев и Герасимов Александр — зам. по комсомольской линии. С завтрашнего дня начинаем ломать саботаж!».

Я взял Герасимова ночевать к себе, а утром, чуть свет, — темно, лампы не горят (нет керосина) — пошли по колхозам. Сначала в «Верный путь». Созвали комсомольцев и пошли искать по дворам хлеб. А какой саботаж? План хлебозаготовок был выполнен, все сдали! За день нашли в скирде один мешок пшеницы. Нашли! Вот это Зайцеву и было надо. С этого и началось. Станица была объявлена вне закона, сельсовет распущен, всем руководил комендант. Окружили кавалерией — ни зайти, ни выйти, а в самой станице на углах пехотинцы: кто выходил после 9 часов вечера, тех стреляли без разговору.

Закрыли все магазины, из них все вывезли, до последнего гвоздя. Для политотдела был особый магазин, там они получали сахар, вино, крупы, колбасу. Три раза на день их кормили в столовой с белым хлебом. А таких, как я, активистов, тоже три раза на день кормили, но хлеб давали не белый, а пополам с макухой. Хлеба давали 500 г., я еще матери носил.

Люди приходили к столовой, тут же падали, умирали, лежат опухшие. А политотдельцы проходят и не обращают внимания, как будто это скот, а не человек.

Варивода Овдий был назначен старшим по сбору трупов. Дали 10 гарб, коров. И он соби-

рал; ехал всегда по улице Ленина и непременно останавливался у дома политотдела, будто что поломалось, чтоб Зайцев посмотрел, и у здания сельского совета, чтоб подоить коров. Такую картину я ежедневно наблюдал из окна кабинета коменданта станицы Ярошенко.

Трудно описать, как мы реагировали на этих «врагов народа». До нитки голые, как попало набросанные на гарбы — кто висел через драбины головой, у кого руки висели до земли, кто одну или обе ноги задрал вверх — окоченелые, они совершали последний путь на цэгэльную, на Бакай. Там был раньше кирпичный завод, и глину брали из карьера. Бросали всех в эту братскую могилу. Возраст их был от младенцев, знавших только соску, до бородачей. Мужчин было больше. Бросали людей и живых еще, но таких, что уже все равно дойдут, умрут.

Ночью Зайцев вызывал к себе председателей колхозов. Меня всегда выгонял из комнаты, говорил: «Иди лучше девок пошупай!» А я был тогда любопытный — под окно, да подслушивать. Не понимал, что он мог меня запросто застрелить. Вызовет председателей колхозов и спрашивает:

- У тебя сегодня сколько сдохло?
- 70 человек.
- Мало! А у тебя?
- 50 человек.
- Мало!!

Слушаю за окном и не могу поверить. Волосы дыбом встают. Вечером соберемся в нардоме с Ваней Гуденко, говорим, думаем, что же это творится. Ведь это же Советская власть! Такого при царе не было! А кому скажешь — некому!

В 34-м Зайцева забрали. Оказался и он «врагом народа». А в станице с 18 тысяч осталось пять с половиной или шесть с половиной тысяч людей. Остальные, больше 10 тысяч — вымерли. Сейчас Рассказываю, — так не верят. Бывает, еще говорят: так то ж были враги народа. А как может быть врагом народа ребенок? Зайдешь в хату, а там лежит человек пятнадцать детей, пухлые, мертвые — семьи тогда были большие...

Но это еще не все. Когда забрали Зайцева, меня вызывали в район, показывали дело. Оказывается за мной тоже следил В....а (был такой еврейчик, собирал на меня улики, как на врага народа). И записано было, как мы с Ваней обсуждали Зайцева и говорили, что это за Советская власть такая, что уничтожение людей — это фашизм. Если бы Зайцева не взяли, через день-два и я мог бы стать «врагом народа»!

Павел Пантелеевич ЛИТОВКА,
1917 г. рождения, г. Новороссийск

«САБОТАЖ»

При въезде в хутор Албаши и в соседние казачьи станицы вблизи наезженной дороги глубоко вкопаны столбы. Осмотрели их дегтем и смолою и поперек от столба к столбу прибили трафарет с надписью, сделанной небрежной рукой: «Въезд и выезд ЗАПРЕЩЕН! Карается сурово по закону. Здесь — САБОТАЖ!».

Хутор на осадном положении — ни въехать, ни выехать нельзя — кругом стоят посты, заставы. Новодеревянковская с востока, с запада — станица Копанская. Круглосуточно дежурство нес хуторской особый актив. На конях объездчики полей, жестокие и с видом злобным, коммунисты, комсомольцы и комсод. В косынках красных, с видом бравым, высоко подстриженные волосы — активистки-амазонки, делегатки. На груди у них отличительные знаки и повязки черные на рукавах. Как смерть с косою, возникали неожиданно. Оружие заряжено и наготове: курковые ружья, наганы и берданки, за поясом гранаты РГД и к ним особые запалы.

— За что вы нас? Кто вы такие? — хотели узнать хуторские старики, но прежде времени легли в могилы.

Тщательно готовилась расправа тюрьмой, голодом, убийством. Попробуй выбраться со двора, уехать из родной отцовской хаты, бежать за ту черту, отмеченную столбами, — убь-

ют и ночью бросят в давно готовый длинный ров у хуторского кладбища.

Весной 1933 года одни подростки-дети в поле трудились от зари до зари под неусыпным глазом бригадира. Нас 35 было в звене полеводческой бригады. От голода и непосильного труда мы падали на пахотные глыбы и умирали на работе, возле дома, все меньше, меньше оставалось нас. У многих и родных уже нет в живых.

Бычки полуторагодовалые стоят, в ярмо запряженные, нагнув упрямо шеи, а мы в тряпье и постоплах на босу ногу лежим на пахотной земле, на соломе — ждем, как Бога, высокое районное начальство. Приехали на взмыленных конях в тавричанской двухрессорной линейке. Сошли пять сударей с сидений, один в один, выхоленные и сытые, в одеждах белых, лебединых, в парусиновых простых полуботинках, артелью «Райкожкоопремонт» сшитых, надраенных порошком зубным под цвет белого льняного пиджака староминского паевого магазина. Подходит важный господин — один из них. На вид особый — с рыжей сумкой полевой в руке. Окинув недовольным взглядом поля, рукой взмахнул, закрыл глаза — солнце палило нестерпимо, — крикнул:

— Как дела, казачки, работяги-симулянты? Молчим, лежим еле живые.

— Норму боронования — четыре га — на ноль семьдесят пять сотых. Трудодня не дают, — жалуется бригадир Демьяненко Андрей Петрович.

Тот работнику политотдела МТС Чернеге:

— Ну что же, пусть пеняют на себя. Хотели в поле их кормить, чтоб на работе не подошли... Теперь питание им я отменяю! Зачем таких кормить? Отцы, весь род — враги народа! Их не переделаешь в людей — такая казачья порода!

Другой к нам подошел. Широкий в плечах, высок, в фуражке белой, в очках цветных и в золотой оправе. Я не забыл его, Кимлаева:

— Почему бычки стоят и сорняком все бороны забиты?

— Мы не в силах их поднять, — отвечаем, — есть хотим, мы давно не ели хлеба!

— Запоздывает сев, — он продолжает, — подсолнухов, кукурузы, конопли и клещевины. Придется вам за это отвечать. Это саботаж! Вы кулаки, казачьи мерзавцы!..

Не стали мы на оскорбления молчать:

— На наши посмотрите руки, ноги и глаза — они от голода опухли и заплыли. А вы кричите... Мы ходим с бычками у бороны, а дома семьи вымирают. И трудодней в семье полно, а в хлебе правление колхоза отказало... Где правда? Работаем на быках — все равно что на телятах. А лошадей колхозных почти всех не так давно под видом сапа постреляли...

— Как твоя фамилия, пацан?

— Не скажу, — брат Поликарп ответил. Мы голодны, траву на поле собираем. Вон ту стебlistую сурепу. Едим ее. Кружится голова, болят опухшие желудки. Пикалов, фельдшер хуторской, от всех болезней хину предлагает. Но малярии нет у нас. Хлеб нужен.

Молчат насупившись. И поговорка русская пришла на ум: голодному не верит сытый. Толстяк-фельдшер дает совет: не жрать жердел зеленых, чтоб голодом мертвить живее. А жить так на земле своей хотелось!

Чтоб на работе не умереть, мы собирали зерно, не заделанное сеялками в поле, когда отсутствует начальство и злой хуторской актив. На листе железа жарили. А как появится актив, едим зерно сырое.

В трех километрах хутор. Но идти домой нет мочи. Нас бьет актив. До синяков и крови. Находят везде — в поле, в кустах терновника, в скирдах гнилой соломы, где в забытии, во сне мы видим хлеб! Активисты голодным, сонным на спине колесной мазью черной пишат: «Кошей», «Скелет», «Симулянт» и «Доходяга».

Проснется на заре «скелет», страхнет труху соломы, не знает о черной той отметине. Актив уж тут как тут, пришел смотреть на свое искусство — на доходяг, скелетов, работяг, не выполняющих дневную норму. Берут в кольцо подростков, кричат, свистят, готовы и побить.

Смотрят на расписанные спины и лица, пухлые от голода, и все до одного до слез хохочут.

Не мы — они из кладовых колхозных продукты ежедневно получают. По возрасту годятся нам в отцы, да и детей таких, как мы, имеют.

Не все тогда умерли. Сопротивлялись, как могли, власти. При атаманах мы имели все: и родителей, и семьи, и хозяйство. А теперь отцов забрали в тюрьмы, нет их в живых.

В домах и во дворах все конфисковали без санкций прокурора и суда. В подвалах, погребах, на чердаках забрали все съестное. Оружие искали. Для актива лакомством было казачье сало — рыжее, старое, борщевое. Коров казачьих со дворов свели, увеличив на ферме поголовье.

А первый секретарь ВКП (б) района, тот самый, в очках с золотой оправой, что обвинял нас в саботаже и рыл для нас могилу, в скором времени сам в ней оказался, как разоблаченный «враг народа».

Фруктовые сады и вековые декоративные деревья отличали хутор Албаши. Куда бы ни поехал ты, на все четыре стороны видны были дубы и клены, бересты, тополи и пятикупольная церковь с крестами и громоотводом, звонница деревянная с колоколами. Один большой и несколько поменьше. Какая красота на видном месте — всё берегли казаки и казачки до «саботажа». Но пришла беда в 32-м и в 33-м — суровая зима со снегом, холод, голод. Срубили все сады, деревья вековые, разобрали добротные деревянные базы, сарай, обитые досками, амбары, овечьи кошары, кладбищенскую изгородь, кресты, с хат посдирали камыш, все подряд стопили, сожгли. В хатах остовы печей остались, смотреть страшно и обидно было — не стало хутора-красавца.

Снег выпадал, мороз крепчал. Ямы рыть стали прямо во дворах на два и три штыка лопатой. Без гроба, в простой одежде, без слез, рыданий, обычно дети и родные опускали в них своих родных. Вместо креста — каток, которым когда-то молотили хлеб. А гармонис-

ты братья Гармаши — Иван, Василий, Тимофей — натопили на ночь печь, задвиги наглухо закрыли и навсегда ушли из жизни. Двенадцать их было, Гармашей и Гармашат...

Живой кто был и мог передвигаться, прокожи вспоминал быков, овец и лошадей, лежащие на горищах и в сараях. И хоть поверхность их шашель порябил, голод сварить и съесть заставил. Не стало видно дыма из дымогарей, не слышен лай собак и ржанье лошадей, коров мычанье, петушиный крик. Все замерло, застыло.

Когда снова весна настала, природа оживилась. Удоды во дворах пустых ходили щеголем, резвились. Но в какую хату ни зайдешь, лежали люди. В разных позах, кто на полу, кто на кровати. В оврагах, в балках, бурьянах и на берегу Албашского лимана. Никто уже не поможет

им, рвы на кладбище заполнились, негде хоронить, дожившие ослабли, нету мочи...

А. ГРИЦЕНКО,
ст. Каневская

ОТ ЭТОГО НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ!..

Кулацкий саботаж был ширмой, за которой скрывали основную цель — уничтожение казачества как национального сословия, которое показалось ненадежным советской власти. Метод уничтожения был избран самый бесчеловечный, варварский, хуже душегубок и прямого расстрела — голод.

На одном из съездов партии в хрущевские времена, где разоблачался культ личности Сталина, М. Шолохов говорил, что трижды



Казакы станицы Каневской в ссылке.
г. Тавда, 1931 г. (Из альбома И. Рюминой)

писал письма Сталину, сообщая об искусственном голоде на Дону. И только на третье письмо Сталин ответил: «Вы, товарищ Шолохов, неплохой писатель, но недальновидный политик». Комментарии излишни!

Итак, политика геноцида была задумана сверху, а на местах осуществлялась неумеренным усердием местных властей и безграмотных активистов. Обидно только, что некоторые из бывших активистов до смерти уверены, что делали нужное дело. Хвастались, что за хорошую работу уполномоченный им ежедневно выдавал по пуду муки. А вот Тришковцов в 1950 г. с сожалением признавался: «Нас скувалы, а мы гавкалы» (думаю, перевода не надо). Кстати, сам он не стал «всем», как пелось в песне, а был «бычатником» — т. е. их использовали в нужное время и забыли.

В 1985 году хоронили одну из бывших активисток. Роя ей могилу, попали на общую яму, в которой в 1933 г. хоронили умерших. То есть эта активистка легла на кости и укрылась костями, в происхождение которых она внесла свою лепту!..

Прятали ли зерно? Да, прятали. Но это было спровоцировано действиями активистов, которые все забирали. Беднейший крестьянин Киретенко (сосед наш) закопал за сараем сундук, в который насыпал зерна. Активисты щупами отыскивали закопанное. Главу семейства и его двух взрослых сыновей арестовали, они погибли где-то, а семья вымерла дома.

Таковы факты, свидетелем которых я был лично.

П. М. АНДРЮНКИН,
1913 г. рождения, учитель

ЛЮДИ МЕРЛИ, КАК МУХИ...

...Объявили, что в Новодеревянковской зреет контрреволюция, занесли станицу на «черную доску». Был поднят Ейский полк: оцепили всю станицу, ни въехать, ни выехать. Зерно из станицы вывезли все подчистую — прямо

в поле, на ток, и пшеницу, и кукурузу. Оно потом все так в кучах и погибло на земле.

По дворам ходили солдаты, всех сгоняли на работу — зимой, прямо в чем попало, не разрешали одеваться. А специальная комиссия из актива ходила по дворам, отбирала все съестные запасы — гарбузы, буряки, даже пшеничку из стаканчика, куда свечку ставили, выливали и масло из лампадок перед иконами. Варенья, соленья выносили во двор, разбивали и разливали — там все и замерзло. Отбирали даже узелки с горохом и фасолью, что были отложены на весеннюю посадку.

И не дай Бог, найдут у кого старые фотографии с казаками — сразу забирали того человека. Ага, говорят, так ты ждешь казачью власть, атаманы чтоб вернулись; тебе не нравится советская власть! Так бабушка наши все фотографии семейные из сундука взяла и закопала где-то в саду. А потом от голода и умерла. Другие старики велели родным хоронить себя вместе с дорогими фотографиями на груди...

Люди мерли, как мухи. Команда ходила, собирала трупы — кого в рядюшке, кого так свозили в яму, засыпали землей. А кто своих прямо во дворах хоронил.

Я работал учителем в Отрадовке. Выпросил у приехавшего из Ростова начальника НКВД Северо-Кавказского края пропуск в родную станицу — забрать маму. Еле дал — не положено было.

Пропуск один был на въезд, другой — на выезд. Пока доехал, сколько раз проверяли! Да еще в станице, уже наши, местные, на каждом углу кричат: «Пропуск!» И я его знаю, и он меня знает, а кричит! Так я ему сперва дулю, а пока он хватается за оружие — пропуск под нос. «С кого же, — говорю, — ты, гад, пропуск требуешь?» Потом уже, после голода, да и после войны как вернулся, встречал этих. Ходят пригнувшись... «Что же вы, гады, делали тогда?» — «Нас заставляли...» — «Кто вас заставлял? Выслуживались, сволочи!»

Около двадцати тысяч было в станице. Осталось в живых — меньше восьми.

Контрреволюцию же так и не нашли...

Я ЭТО ПОМНЮ...

(из материалов фольклорно-этнографических экспедиций
Научно-исследовательского центра Кубанского казачьего хора)

Сивцов Степан Иванович,
1909 г. рождения,
ст. Новорождественская.

— ...И выселяли, партиями расстреливали, и голодом томили, и что только не вытворяли тут. Да, тридцать третий, тридцать второй... В амбарах было хлеба полно — наложили разверстку. Забрали хлеб на Кубани и в Крыму забрали. Никому ничего не оставили. Люди начали хлеб в ямах прятать — находили и там. На каждый двор накладывали разверстку. Хоть ты русский, хоть из казаков — раз хлеб есть, значит давай. Тут командовал первый секретарь, забыл как его фамилие, в Ростове сидел, да, ладно. Да вот, стали забирать все, у кого что было. Потом сказали — «саботаж» в станице, и она на «черной доске». Это значит, что станица самая худшая и пошла против советской власти. Выселяли людей на Север. Дошли они и тут, и там. А это уже когда докатились до того, что в 33-м весной надо сеять хлеб, а сеять некому, тогда людей повыгоняли из оставшихся хат, а в пустые, сюда, значит, прислали переселенцев. Вот это они тут и живут.

Лунев Алексей Николаевич,
1919 г. рождения,
ст. Новорождественская.

— Коллективизация началась вроде бы как добровольно. Ну вот. Приходит комсод, вызывает. Сидят в правлении:

— Алексей Иванович, надо в колхоз вступать.

— Да, вот дома надо посоветоваться.

— Ну, что ж, советуйся...

Когда ничего, а когда сидит с политотдела, а сам из кобуры вытаскивает пистолет и кладет перед тобой. Дает понять.

У нас было, как, ну, у деда моего. Он был грамотный и в Бога верил. Я с ним в церковь часто ходил, потому что он мне пряники покупал. И вот он пришел и матери моей говорит: «Я записался в колхоз». Она на него: «Да што ш ты наделал?» — «Все равно, нам там быть. Власть — это есть насилие».

Назавтра и лошадь отдали, какая там сбруя, плуг... были, бороны... Выселяли из станицы, а сюда присылали из России, с Воронежской области много присылали. Бывало, кто и сам приезжал, бывало, прямо из армии. Ну, куда? На Кубань!.. Там, говорят, людей нету, а люди нехорошие: работать не хотят. Ну, приезжают. К примеру, меня выслали — дом пустой стоит, занимай и живи. Конечно, раньше ни казаки, ни русские не подразделялись. Это когда в 33-м «саботаж» случился, — стало такое. Приезжих поддерживали, а местных, всю станицу, на «черную доску» занесли как противников советской власти. Ну, много было глупостей.

АКТ № 994

1930 г. Колхоз Внеурочный совета. Мы, ниже-
подписавшиеся, член правления Мирошников, член
ревизионной комиссии П. В. Власов и гр-н П. В. Власов
составили настоящий акт в том, что колхозом П. В. Власов
принято от П. В. Власов следующее имущество:

Наименование предмета с описанными признаками	Количество		Цена	На сумму	Инвентарный номер	Примечание
	Цифрами	Словами				
Лошадь	2	две	50	100		
Сараи	1	один	100	100		
Кухня	1	один	10	10		
Хлебоп.	2	два	15	15		
К-Колхоз	1	один	3	3		

Кириченко Павел Нестерович,
1912 г. рождения,

Курганинский район, х. Сухой Кут.

Что ж, голод был. Но трактористов хорошо кормили: хлеб давали и привары.

А на хуторе люди пухлые были. Страшно. Мать дитя свое в повозке к трактору прицепила, сил нести не было. Тут вот — кладбище на кладбище было.

Войченко Анастасия Трофимовна,
1918 г. рождения, ст. Передовая.

Да как не помнить?! У нас дедушка, по фамилии Кищенко, в тюрьме был, сбежал он оттуда. Тощий, голодный пришел к маме. А отец мой уже умер. И у нас голод. Кушать нечего, а его надо поддержать. Мама в колхозе волов водила на пахоте. Двести грамм муки давали за это. Я выжила, потому что училась в школе.



Троицкая церковь до разрушения, ст. Елизаветинская

У нас был директор очень умный человек. Он взял землю: пахать и сеять. И работали ученики в летнее время, а также наемные рабочие ухаживали за лошадьми. В Пригородной он потом сад взял у наших Кишечкиных. В школе давали горячий обед. Кто ходил в школу, все живы остались. Давали кусочек хлеба, суп или борщ. А директора, Михаила Алексеевича Мищерина забрали в тридцать седьмом (у них сын здесь живет). Кто на него ерунду написал — неведомо, тогда так.~

Все забирали, ходили по дворам. В горшки

заглядывали, где что ни есть. У нас было в горшочке кукурузы немножко — и ту забрали. Где картошечка какая была — все забрали. А потом говорили — «саботаж», вот так. И на потолок залезала активистка. У нас там сушка была, ведра два. Вот что я хорошо помню, так это: выйдем на перемене в центр станицы, а там людей много. И все тряпки, тряпки. Кто больше, кто больше? Аукцион. Что продавали? Это теперь страшно вспомнить. Позорище. Люди, конечно, ткани выделывали. Пряли, ткали. Активисты вывесят женскую рубашку холщевую.



Семья урядника ст. Передовой В. С. Жигайлова после посещения Святой земли. 1900 г.

Кто больше? Люди забирают, тянут. Сундуками продавали. А бывало, что люди голыми оставались. Ужасно, ужасно умирали. У нас дедушка умер вот тут. Отец тоже тут похоронен. В огороде оба похоронены... А вот в этом доме вся семья вымерла. Кресты тут были. Я вот такой страсти набралась с детства, что уже взрослой не могу спокойно проходить

для специалистов. Живут.

Некому было на кладбище ни везти, ни нести. Хоронили как попало. Вот у нас без гробов похоронили. Делать некому было. Вот некому было ни отца хоронить, ни дедушку. Старичок со старухой жили напротив, так они помогли. Сами жили впроголодь, но остались живы.



Ст. Гривенская, Зарубовка, певческий хор, 1915 г.

мимо. Иду, а там, на углу жили Гончаровы; из всей семьи, а их было четверо детей, мать и отец, осталась одна девочка. Крестов, помню, было в огороде!.. Сейчас там дома построены

А вот тут шли люди на Зеленчукскую. Идут голодные и не доходят до конца улицы. Умирают, лежат мертвые. Пойдет кто в центр, смотришь, там и умирает.

Сидоров Карп Самойлович,
1907 г. рождения, ст. Преградная

Голод я помню как сейчас. Если бы не ко-
рова, гибель бы всем была. Мерли у меня под
воротами люди. У меня корова была ведерная
прямо, так я спасал много людей. На горе тут
был гриб такой. Молодой, белый. Нарежем его,

вспоминать. Идут уже раздутые, пухлые. Дети
маленькие дикий щавель в поле рвут и там же
помирают.

А сотворили голод этот свои люди, ком-
сод. Я как раз стал жить один: пахал, сеял. У
меня и сеночко, и овес, и кукурузы под пото-
лок завалено. Приехали, забрали и жинку по-



Ст. Гривенская, Зарубовка, 20-е годы.

в котле наварим в печке. Он упарится и тогда
с молоком хлебаем, как печенку. Идут до меня
люди с кружечкой: «Пожалуйста, хоть помой-
те кувшинчик и водичку ту дайте». Страшно

садили (нашли в дровах мешок кукурузы). Ко-
ротконошка был такой, Дмитрий Алексеевич,
из иногородних. Карал людей, как хотел, и
ссылал. В повозки выгребали все и увозили.

Зами пьяные. Облигации заставляли брать по 100 рублей. А корова дешевле была, но боялись, подписывались. Коротконошка забирал себе облигации и замотал их туда-сюда. Взял его в тюрьму. В тюрьме наши сидят, у которых забирал: «А, так ты тут!» Они его и убили. Знаю это потому, что у меня брат сидел в тюрьме, в Майкопе. Он и сказал, что Коротконошку в тюрьме и домолотили, разделали.

Домницкий Сергей Емельянович,
1917 г. рождения, ст. Мингрельская

Перед 32-м годом, бывало, возы или гарбы идут — и красный флаг, а на флаге: «Дайте на красный обоз!» Ну, люди что-нибудь давали, что ведро там, у кого есть, что другое. Вообще сама природа подсказывала, что будет голод. Начали прятать зерно, закапывать. И не дай Бог, если кто напишет и найдут у тебя закопанное... Однажды сижу в хате, кручу мельничку ручную. Кукурузу мелю, чтоб мать кашу сварила. Председатель сельсовета линейкой езжает. «Ну вот, казачка, что мелешь?» — Натереть. — «Та, мылю дитэй кормить». — «А гехай дохнуть твои казачата, — говорит. — Давай топор». Мать топор дала, а председатель ростом здоровенный) поколол деревянную мельничку на вот такие кусочки. «Корми теперь своих казачат». Хамство, я б сказал, больше ничего. Если бы сейчас довелось быть на войне, первого я убил бы его, как собаку.

Тогда казаков не ставили бригадами, только городошников, хотя кое-кто земли и не пашет, и не бачив.

Умерли от голода весной. Некому было яму копать. Не из чего было гробы делать, так, замотают во что-нибудь и везут на кладбище. А там, за Кубанью, в Красноармейской станице... Там же что было! Взбунтовались казаки. Их, ее окружили потом. Каганович потребовал войска, русские, и приказал стрелять. А они не стреляют, солдаты. Тогда всех солдат отвели, и нацменов, казахстанскую дивизию пригнали — так они там дали перепалу. Вот она и стала станица Красноармейская.

Черкашина Евдокия Николаевна,
1925 г. рождения, ст. Преградная
— Вы казачка?

— Казачка.

— Отца вашего как звали?

— Николай Сафронович Черкашин. Его забрали в 1925 г. как врага народа. Про него не спрашивай, не знаю.

— Голод 1932 — 33 годов на вашей памяти?

— Конечно.

— Почему началось это все?

— Был неурожайный год, и станица выбилась со всех ресурсов. А мы зажиточные были. Материнские и отцовские вещи хорошие, ценные имели. Одежда и платки, и юбки, и материи — все носили мы менять в Пантелеймоновку к черкесам. Там урожай был хороший. Там не имели клочок земли в 15 — 20 соток как мы, а имели «глянешь только — и работай». Мы у них шаль променяли на ведро картохи. Барашковая шаль. Дома начистили кожурок, посадили их, и еще урожай был. Нас возили в степь на работу. Однажды видим — лежат люди под Семеновской мертвые, пораздутые. Бабушка нам рассказывала: дите залезло к соседке лукуперышко сорвать, она его тяпкой убила и выкинула за забор. Вот я плакала: да что ж это за людина?

— Почему голод?

— Из-за неурожая. А еще забирали у людей все. Мы кукурузу зарыли в песку, они и там нашли. Активисты были: Степанов — во время войны в полициях ходил, Петров.

— Почему забирали продукты?

— Вредители были.

Петров Георгий Николаевич,
1924 г. рождения, ст. Преградная
— Голод 1932 — 33 годов помните?

— Это в памяти. Это начиналась коллективизация. У нас так, а в других местах, может, где и раньше. У нас в 33-м году сказали: «Сдавайте хозяйство и вступайте в колхоз». Одни испугались, сразу все сдали, а кто другой не хотел. У меня отец не захотел идти в колхоз.

Они и забрали все хозяйство: пару коней, пару быков, 4 коровы, голов 10 молодняка, штук 40 овец. Это забрали, потом зерно стали все забирать, даже на семена не оставляли. Вот ворота были, в воротах отец ночью яму выкопал и ящик пшеницы запрятал. Потом хорошо затрамбовал. Комсод пришел, «костылями» начали щупать,

нашли. «А ну, откапуй!» «Тебе надо, ты и откапуй. Я не закапывал» Они взяли и откапали. Дед не выдержал, взял лопату — и на комсод. Его забрали и увезли в Армавир. Через два месяца вернулся. Как он вернулся — не понятно. Комсод грабил по-черному. Даже в печке, кувшинчик где найдут с зерном — все заберут.



Николай Иванович Ляшко, казак станицы Елизаветинской, с женой Ириной, 25 февраля 1930 года, за день до высылки в г. Чердынь. (Сев. Урал)

- Умирали от голода люди?
- Ой, было! Пять душ с одной семьи поумирало. А барахло их забрали.
- А барахло зачем?
- Вывезут на рынок, потом торгуют.

Колонида Анна Андреевна,

1927 г. рождения, ст. Новодмитриевская.

Мама в колхоз не пошла работать — мы все маленькие, а мама больная. И вот как сейчас помню: приехали на двух подводах к нам комсодовцы. Мы жили в одной комнате, а в другой кто-то квартировал: учительница с семьей или еще кто. Было у нас одно одеяльце новое. И вот, когда подъехали подводы, мы уже не сомневались, что приехали нас грабить. Квартиранты в дверь заг-

лядывают, говорят маме: «Степановна, отдайте хоть одеяло, вот то, новое».

А она в ответ: «Нет, они не возьмут». Все абсолютно забрали, до бурячка, где какой кабак, где что было — все забрали. Мы на печке сидели, так они и туда заглядывали — ничего там не попрятали?

Никого не пожалели. Мы на лохмотьях там спали, куфайках... Да хорошего и не было ничего, вот то одно одеяльце, я как сейчас помню, красное было... Все забрали и повезли в сельсовет, а куда они его дели — никто не знает. И остались мы без ничего. В этом же году пошла я в школу, в первый класс. На одной ноге галош, а на другой — туфель, истинный Бог, вот. Обидно мне, когда я слышала,



Разрушенный храм в ст. Платнировской

что, мол, родилась я в двадцать седьмом и, значит, должна быть грамотной. Как же мы могли быть грамотные, если мы голодовали. Потом галош порвался, или там, туфель — мне не в чем идти. Помню, кто-то поросенка зарезал, дали мне кожу, выкроили постолы, сама пошла с кожи свинячей. Постелю соломки и иду в школу...

Коломиец Александра Васильевна,
1916 г. рождения, ст. Челбасская

В этом году батька наш не пошел в колхоз. Забрали его в Каневскую, в тюрьму. Там их в тюрьме много таких было. А моя мама говорит: «Знаешь что, Шура, иди в колхоз». Я была самая старшая, а кроме меня еще четверо дивчат.

Актив у нас все позабирал. Даже где какой узелок с семенами из каунов или семечек. Хоть шаром покати, Ну я и пошла в колхоз, в бригаду. Она находилась там, где Кубанская степь. Жили мы все в землянке. Она крыта была камышом, а потом соломой и сверху землей присыпанная. Еду во флягах прямо туда возили. Или кухарка на плите готовила. Хлеб белый-белый, высокий, мягкий. На четыре части порежут булку — считается — по килограмму. А дома ведь ничего нет и дети голодные. Ну, я галушек поем, а той хлеб в сумку и вечером до дому.

Далеко Кубанская степь, далеко. Опять утром придешь на работу и ждешь того хлеба. А куда же деваться, если дома ничего нету. А батько в тюрьме, в Каневской. Мне мама говорит: «Знаешь что, наверное, и я в колхоз пойду. Может, и мне дадут какую работу». Четверых детей моих сестер меньших мама сдала в интернат, или, как говорили тогда «площадку». Их там кормили, а мама целую неделю в колхозе работала. Голод страшный был. Сено резали и парили. Мать пойдет на базар, на барахлишко жменьку муки выменяет и из того сена и муки слепит чуречки. А приварок тоже появился, когда уже картошку дожда-

лись. Ну, борщ там или галушка или затирка, или лапша — это и считалось приварком. Все постное. Люди лягушек ели, люди собак ели, кто не пошел в колхоз.

Бывало, иду с работы по улице (а тут у нас кругом ромашка росла) ежит умерший, дальше — другой лежит. У нас был безногий инвалид, с ним еще один дядька, так они берут за руки, за ноги — и в подводу.

На площади была выкопана яма здоровая, так ее от колхоза приставленные были копать каждую неделю.

Зоз Клавдия Арсеньевна,
1917 г. рождения, ст. Новоясенская

Я в школу ходила сюда, в Новоясынку. Бывало, идем, а по дороге люди валяются: там умирает еще живой, там уже готовый. Подойдем, поплачем, пошли дальше. У самой руки уже пухлые, лицо отекавшее. В школу ходили потому, что там давали завтраки горячие (кипяточек и в нем где-нигде крупинка крупинку гоняет), так за той крупинкой ходили в школу.

Сделали голод специально. Урожай был. А делали так: наберут молодых с десятков, и один среди них стойкий — в кармане наган. Приходят к вам, все вылазили, выискали. У старшего штырь такой, метра два: шупают, ищут. Нашли хлеб — в тюрьму забрали всю семью, описали дом, имущество, не нашли — все забрали: семечки кабачные на подоконнике лежали, сохли, и те гусиным крылышком смели; забрали в подвале соленые помидоры, капусту. Я еще дите была. Сiju, на мясорубке замоченную пшеницу мелю. Она как тесто выходит, тогда из него делаем пляцки и поверх плиты печем.

Все забрали активисты. Люди разбрелись. Кого выслали, кто сдох, кто сам сбежал. Я лично ходила, милостыню просила. И по Старощербиновке ходила, и по Екатериновке (поселок такой за Старощербиновской), но никто не давал. Нету. А мы полубосые, полуголые, батько в тюрьму загнали...

ВЫЖИТЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

В издательстве РОССПЭН («Российская политическая энциклопедия») очень малым тиражом — всего в тысячу экземпляров — вышла объемистая книга (592 страницы) с довольно мудреным для широкого читателя названием «Рефлексивное крестьяноведение». Подзаголовок раскрывает смысл «рефлексии», а говоря попросту, размышлений: «Десятилетие исследований сельской России».

Проводились эти исследования с начала 90-х годов ушедшего столетия. Первые развернутые автобиографии 124 сельских семей из 25 сел в восьми регионах России социологи получили еще в советскую эпоху — в 1990 году. Затем Московской высшей школой социальных и экономических наук и Центром крестьяноведения и аграрных проблем в период с 1999 по 2001 год были проведены три последовательных исследования постсоветской сельской России.

Главным методом изучения стали «глубокие» интервью, связанные с живанием в изучаемое сообщество.

Материалы этих трех исследований как раз и вошли в монографию в виде более чем трех с половиной десятков статей разного содержания и характера. Есть среди статей и такие, которые написаны главным образом для коллег — специалистов, на которых, собственно, и рассчитан более чем скромный тираж. Однако некоторые статьи включают в себя настолько ценные человеческие документы, что, право, не грех распространить их миллионными тиражами. Такова, например, статья Валерия Виноградского, Ольги Виноградской, Александра Никулина и Ольги Фадеевой «История сельской женщины: семья, хозяйство, бюджет». Эта статья знакомит нас с 42-летней Любой-Любушкой, простой женщиной с Кубани, оставшейся вдовой с тремя детьми после трагической гибели мужа Ивана.

Вот здесь и начинается новая глава жизни Любы-Любушки, о которой социологи пишут так: «Вся история ее семьи последних пяти лет была историей постоянной борьбы за обретение лучшей доли для детей».

Так уж случилось, что семейная трагедия Любушки совпала по времени с грандиозными катаклизмами в российском селе. с Кочегура — по материалам социологов написал книгу «От колхоза к холдингу», взяв за основу простую и гениальную формулу замечательного экономиста А. В. Чаянова: «Пределом крестьянских усилий является обеспечение семейного пропитания». Вряд ли когда-либо слышала об этой формуле Любушка, но всеми своими действиями она каждоднев-

но подтверждает ее справедливость.

«Я не считаю, что я экономически упала, рассказывала Люба заезжим социологам. — Но я слышу, что меня очень основательно шатает. Чтобы я не упала совсем (такого, наверное, не будет, потому что я знаю людей, которые намного беднее меня живут), мне очень много сил нужно для того, чтобы держаться на плаву. Я вцепилась в какую-то грань выживания, чтобы выгудить детей, немножко одеть их, прокормить — и с трудом держусь за эту кромку. И меня так шатает, что мне кажется, что меня скоро выкинет из этой лодки».

«Вот они, дети, скачут на этом диване, — продолжает свою горестную исповедь Люба.

— Я на них кричу, чтоб они не скакали, потому что новый диван у меня не на что купить. И я переживаю. «Не скачите вы на этом диване, не дергайте этот стул, не прыгайте на этом кресле!..» Почему я не запрещаю быть детям целыми днями на улице? Да потому, что у нас нет ни телевизора, ни радио, ни видика. Мы, например, вчера сидели в темноте, когда отключили электричество. И не потому, что нам свечки было жалко и мы ее экономим. Было холодно, мы дверцу у печки открыли, оттуда огонь светит, все видно. Зачем нам свечка?... Я понимаю, что сил у меня все меньше и меньше. И дети на себя берут часть нагрузки. И порой здорово помогают. Вот дали нам морковку прореживать — за сахар. И мы с мальчишками моими сделали за четыре час 55 рядков... И всех обогнали! И за это нам положено ведро сахара».

Вопрос социолога Любе: «А научилась ли ты за эти трудные годы умению жить? Стала ли за это время более изобретательной?»

Люба: «Да! В первую очередь — в еде. Тут такие изобретения возможны! Мы почти полностью перешли на овощи, потому что на мясо у меня денег нет. Единственное, что я могу себе позволить, — это рыба. Рыбу можно выменять на самогон. Поэтому рыба у меня есть... Раньше я рыбу только жарила, а теперь и котлеты делаю, и пельмени, и тефтели, и мариную, и с томатом, и без томата, и уха, и все что хочешь. Потом — салаты... Вот почему мне весной очень тяжело? Я смотрю на грядку и думаю: «Ой, огурцы не поднимаются, ой, картошка засыхает» Меня нервы бьют уже с самой весны, потому что если я в зиму останусь без овощей, я пропаду. Вот без мяса я не пропаду, а без овощей — свободно пропаду.

Питание — это самое-самое хорошее поле для экономии и изобретательности. Раньше я не пекла хлеб, а теперь пеку. И не только хлеб. Со временем я поняла, что дрожжевое тесто — самое выгодное! Яиц в него класть

не надо. Кисляк, немножко сахарку, постное масло. И все! А теста получается очень много. Можно печь и булочки, и пирожки, и пироги, все что хочешь. И рулеты на выбор: хочешь — сладкие, хочешь — с зеленью. Так что я хлеб пеку сама, потому что хлеб сейчас дорого покупать. Я делаю сама сладкую халву: прокручиваю через мясорубку семечки в скорлупе два раза. Сначала я их мою, перебираю, жарю. А потом — через мясорубку. Халва получается темная, но вполне съедобная.

Я в этом году купила приспособления пластмассовые, вроде фильтров... Они в мясорубку вставляются. С их помощью можно делать лапшу, вермишель и рожки. Яйца у меня есть, мука есть. И я вытягиваю сама макаронные изделия. Потом всякие закатки делаем. Салаты... Раньше я думала как? Если что-то надо, пойду да куплю. А сейчас же не пойдешь и не купишь. Поэтому я стараюсь что-то выдумать. Я, например, приспособилась галушки делать, а потом их обмакивать в такую приправу из жира, лука, травы. И получается второе. Я открываю салат, и пожалуйста — наедаемся. А раньше я никогда этого не делала.

У меня, веришь, и отходов-то почти не бывает. Например, собак кормить мне нечем. Ни хлеба, ни отходов у нас нет. Поэтому я завариваю дерть и кормлю ею собак... Раньше сухарики мы собакам бросали в миску, а сейчас мы завели кроликов. Теперь сухарики идут на кроликов. Особенно если матка есть — ее подкармливать обязательно надо.

За последние годы я почти никуда не хожу в гости. И ко мне почти никто не ходит... Я живу бедновато, но дети у меня голодные не ходят... Я вот эти пельмени сделала из рыбы. И рыбой они не пахнут. Потому что я в фарш добавляю сало и лук пережаренный. Я раньше думала, что котлеты и пельмени можно делать только из судака и щуки. А сейчас я делаю фарш из сазана и из карася. Я все обо-

драла, перемолола на мясорубке — и сделала фарш. Хребты пошли на уху, я их переварила. Вот, считай, что и первое, и второе у меня приготовлены. Дети мои не очень любят рыбу кусками. А вот котлеты, пельмени, тефтели они с удовольствием едят. Вот я сейчас с нетерпением жду капусту, потому что я люблю капустные котлеты. Я жду картошку, потому что можно делать драники».

Еще один вопрос социолога Любе: «А в огороде как проявляется твоя изобретательность? Изменился ли способ ведения приусадебного хозяйства?»

Люба: «Да, изменился! Например, в этом году я посадила много кабака, потому что в прошлом году у меня выросло всего три кабака, и дети его прекрасно ели, то есть я делала кашу, я его запекала, я его варила, парила. И к тому же кабак очень полезный. И даже в сыром виде. Дальше — я в этом году много капусты посадила. Дай Бог, конечно, чтобы она выросла, чтоб ее солнцем не спекло. В капусте много витаминов, и ребята у меня любят капусту и тушеную, и в салатах, и в борще, и в солянке. Я много посадила фасоли. Фасоль идет и в салат, и в суп, и в начинку для пирожков. Я очень люблю фасольевый суп, постным маслом заправленный. И дети раньше ее не ели, а теперь полюбили. Еще я гороху насадила.

Лук я всегда раньше садила делянками, грядками. И он у меня занимал когда-то место. А потом, смотрю, соседка — что она там делает?! А она по огороду, по картошке, натыкала лук, окаймила, заняла пустые места. И в этом году я тоже так сделала — и полтора ведра лука посадила, не занимая территории. Раньше все можно было делать в колхозе — своровать. Теперь колхозный огород расстроился напрочь. Достать овощи невозможно. И потому надо сажать все свое...

И опять вопрос социолога: «Есть ли в твоём семейном хозяйстве предметы, которые можно назвать бесполезными? Как ты с ними обходишься? Расстаешься ли с хламом решительно

и бесповоротно? Или же ты его приберегаешь?»

Люба: «Таких вещей у меня очень много, несчетное количество. Даже вот взять прохудившуюся кастрюлю. Я в ней ничего уже приготовить не могу. И припаять нельзя. Приходится ее выкидывать, а мне ее жалко. И я не выбрасываю. Я в ней собакам корм даю. Там же дырочка маленькая, и собака вполне успевает поесть, покуда похлебка собачья на землю уйдет. Но собака-то и землю вылизать может. Ей это даже полезно. Или я могу в той кастрюле курам корм замешать, или еще что-нибудь.

Есть такие вещи, которые давно как хлам надо выкинуть, но они у меня стоят. И не просто стоят, а служат. Например, у меня есть бочка. У нее нет дна. И есть таз, в котором раньше детей купали. В нем тоже нет дна. Но я их не выбрасываю. В ту бочку я складываю стекло — битые тарелки, чашки, бутылки, осколки, которые во дворе валяются, камешки острые, железки, пружинки, ржавые гвозди и все такое прочее. Я эту бочку поставила за углом, чтобы ее не было видно, и валю туда все, что режется, колется, под ногами мешается. А потом, когда весной прибираюсь, я поднимаю эту бочку, все железячки и стекляшки кучкой на земле лежат, я их лопатой на тачку и потом везу на свалку... И этот таз без дна я тоже не выбрасываю. Он у меня служит. Я, например, огурцы с огорода принесла к дому. Если их просто кинуть у крыльца, для сортировки, они могут разбежаться, а если их высыпала в этот таз, то огурцы-то лежат в кучке — выбирай хорошие, неси домой. А которые остались, те спокойно курам можно бросить. Я тот таз в дом поставлю, высыплю туда мелкую картошку и потихоньку ее перегребаю. Которая получше — варю на питание, мелкую и битую отбираю на корм курам, а она у меня в кучке лежит, и это очень удобно...»

Социолог интересуется: «А эта практика выжимания ресурсов, когда ты выкручиваешься, примеряешься к жизни, — это все для тебя тягостно?»

Люба: «Знаешь, мне спокойнее делается на душе, когда я так могу работать и жить. Да! Мне более спокойно. Но когда я экономлю и при этом денег не вижу, прибыли не ощущаю и не могу ничего себе купить — ни телевизор, ни кровать, ни чайник, это тяжело. Потому что все деньги и все сэкономленное уходит у меня на самые насущные нужды: заплатить за воду, купить лекарство. Конечно, так жить трудней... Знаешь, что я хочу тебе сказать? Получу я иной раз деньги, зарплату, и долгов у меня на тот момент нет. И сумма хорошая на руках. И думаю: вот закрою глаза и пойду куплю все, что хочется! Насколько надоедает экономить, веришь? Душа просит выйти на рынок и что-нибудь купить. Я так и делаю: беру деньги, в пределах разумного, и иду на рынок. Подхожу и думаю: вот бы съела вот это! Но, гляжу, дороговато. Пойду-ка я посмотрю еще что-то другое. И я с этими деньгами возвращаюсь домой в результате! А если сейчас что-то хочется, я просто не обращаю на это внимания. Притерпелась...

Знаешь, я свалкой интересуюсь. Некоторые люди много чего выбрасывают. Мои дети даже велосипед со свалки собрали, по частям...»

Вопрос социолога о святой святых — о семейном бюджете Любы: «А каково соотношение зарплаты и доходов от твоего личного хозяйства, других натуральных доходов в твоём бюджете?»

Люба: «Я так думаю, что мои денежные доходы составляют одну пятую от того, что я заготавливаю на зиму с грядки. Я получаю (вместе с алиментами, вместе с пенсией, вместе с детскими) чуть больше тысячи рублей... Меня сильно выручают колхозные ресурсы. Вот у меня в последний год не было урожая, потому что не было полива. И все, что у меня прибавилось в подвале, все это я добыла в колхозе. Помогала на огороде полоть. И все оттуда натаскала — и помидоры, и огурцы, и капусту. Картошки у меня не было — я с поля натаскала. Буряка, моркови тоже наносила. Колхозу невыгодно нам платить,

потому что у него наличных денег нет. А нам невыгодно эти копейки получать, потому что я лучше из колхоза наворую столько продукции, сколько мне нужно. И еще с запасцем... Нас пригласили из санатория в качестве помощников. И платить за эту работу не обещали. Сказали, что будут только ставить нам выходные дни. Ну и хорошо! Я работаю там всего полдня. И притаскиваю оттуда три ведра отборного картофеля. А он осенью 1999 года стоил дорого — 100 рублей за ведро. Так что, если переводить на деньги, то я зарабатывала в то время 300 рублей в день. Денщину мне платят, эти десять рублей колхоз не дает. Но при этом говорят: «Можете себе немного картошки взять». Разрешалось взять ведро. А потом, когда поняли, что картошки мало, разрешалось взять несколько килограммов в сумочку. Но мы же... эту картошку совали и в куртки, и в карманы, и в сумки. Я привозила минимум два с половиной ведра каждый день. А то и три с половиной. Мне дети в этом помогали. Вот даже Леша ходил ко мне на огород, приносил еду. А с огорода он и лук тащил, и свеклу, и картошку. По карманам куртки рассует, рюкзачок под куртку на спину повесит — и тащит домой, как муравей, припасы на зиму. И так он делал несколько раз. В общем, заготовили мы овощей сполна».

Вопрос социолога: «А что, многие так делают?»

Люба: «Да все! И чем беднее человек, тем больше он старается натаскать...»

Социолог просит уточнить: «Какие вы? Богатые, средние или бедные? По твоему ощущению?»

Люба: «Я ощущаю себя на среднем уровне... Я могу позволить себе лечить детей... А другие, похожие по жизненному положению на меня, этого себе не могут позволить. Вот в классе у Лены один мальчик заболел чесоткой. И он не ходил в школу, пока ему не собрали родители деньги, чтобы купить серную мазь. Этот мальчик живет в многодетной семье, родители

пьют... Когда я бюджет подбила, у меня получилось, что на лечение детей я потратила 5300 рублей. Эти деньги ушли на лекарства, на поездки в Краснодар и обратно. То есть 5000 у меня ушли мигом. Фьють — и нету!.. Я могу учить своего сына Женю. Я могу платить за его обучение. А сейчас выучиться на повара-кондитера очень дорого. Сейчас все продукты для кулинарной практики надо покупать самим учащимся. Это в копейку влетает...»

Впрочем, отвечая социологу, Люба призналась: «Если мне в этом году назначат операцию (а так, увы, и вышло), я ее вообще не смогу делать — ни финансово, ни физически».

Разговор с социологом был настолько доверительным, что Люба призналась и в кое-каких своих противоправных поступках. Так, вместе с одним из своих друзей она нарвала 60 килограммов яблок в колхозном саду, а с другим знакомым вывезла с колхозных полей почти 7 центнеров молодой кукурузы. Удачей увенчалась и вылазка на колхозную бахчу: доставили в подвалы Любы 200 килограммов арбузов и дынь.

Трудовая этика в бывших колхозах и совхозах, мягко говоря, сейчас не на большой высоте, на что есть разные причины — это особая тема исследований социологов.

Автор еще одной любопытной статьи в сбор-

нике Александр Никулин приводит весьма поучительную историю бывшего «красного председателя» колхоза имени Ленина, который, однако, удачно адаптировался и к современным условиям. В хозяйстве есть сеялки «Конкорд», комбайн «Массей Ферпоссон», прессы «Форт-шритт», другая зарубежная техника.

По случаю завершения уборочных работ председатель устроил застолье, на котором он обратился к своим ближайшим соратникам с вопросом теоретического характера: мол, известно ли вам, что существуют два пути развития сельского хозяйства — прусский и американский. Путь американский, поучал подвыпивший председатель, связан с фермерством и развитием демократии. «Только зачем это вам?! Вам не нужна свобода... Поэтому не будет вам американского пути, а будет прусский путь. А вы знаете, что такое прусский путь? Ха! Опять не знаете. Да это очень просто: это я тут буду помещиком, а вы все будете моими холопами!»

Такую вот «рефлексию» провел в застольной дискуссии бывший «красный председатель». И, похоже, скорее всерьез, чем в шутку. Во всяком случае в судьбе Любы-Любушки и таких же, как она, сотен тысяч простых крестьянок России такого рода «рефлексии» уже обернулись каждодневной борьбой за выживание.

«Советская Россия»,

27 июня 2002 г.



УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Краснодарского края, государственное унитарное предприятие «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости»».
ИЗДАТЕЛЬ: газетно-информационный комплекс «Кубанские новости».

Журнал зарегистрирован в Северо-Кавказском управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати № Р2457 от 19.02.98 г.

Подписано в печать 10.09.2002 г. Формат бумаги и 84х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12. Заказ _____

Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета, подготовленного электронным способом в ГУП «Печатный Двор Кубани», 350000, ул. Горького, 104.

Родная КУБАНЬ

Панас Хоменко

1933-й год

Ясно утро, ветер веет,
Побелел восток.
На деревьях зеленеет
Молодой листок.
Все покрылось бурьянами,
Заросли дома,
Тихо, жутко вечерами,
Как настанет тьма.
Заржавели лом, лопата,
Не стучит топор,
Опустели дом и хата.
Зарастает двор.
Не мычит в базу корова,
Нет ее давно.
От дождей гниет солово,
Враг забрал зерно.
Опустела вся станица,
Гложет грудь тоска,
Только ночью "Ворон Птица"
Будит казака...

Солнце хаты освещает,
Льет свои лучи,
Брат опухший умирает
С дедом на печи.

Нью-Йорк